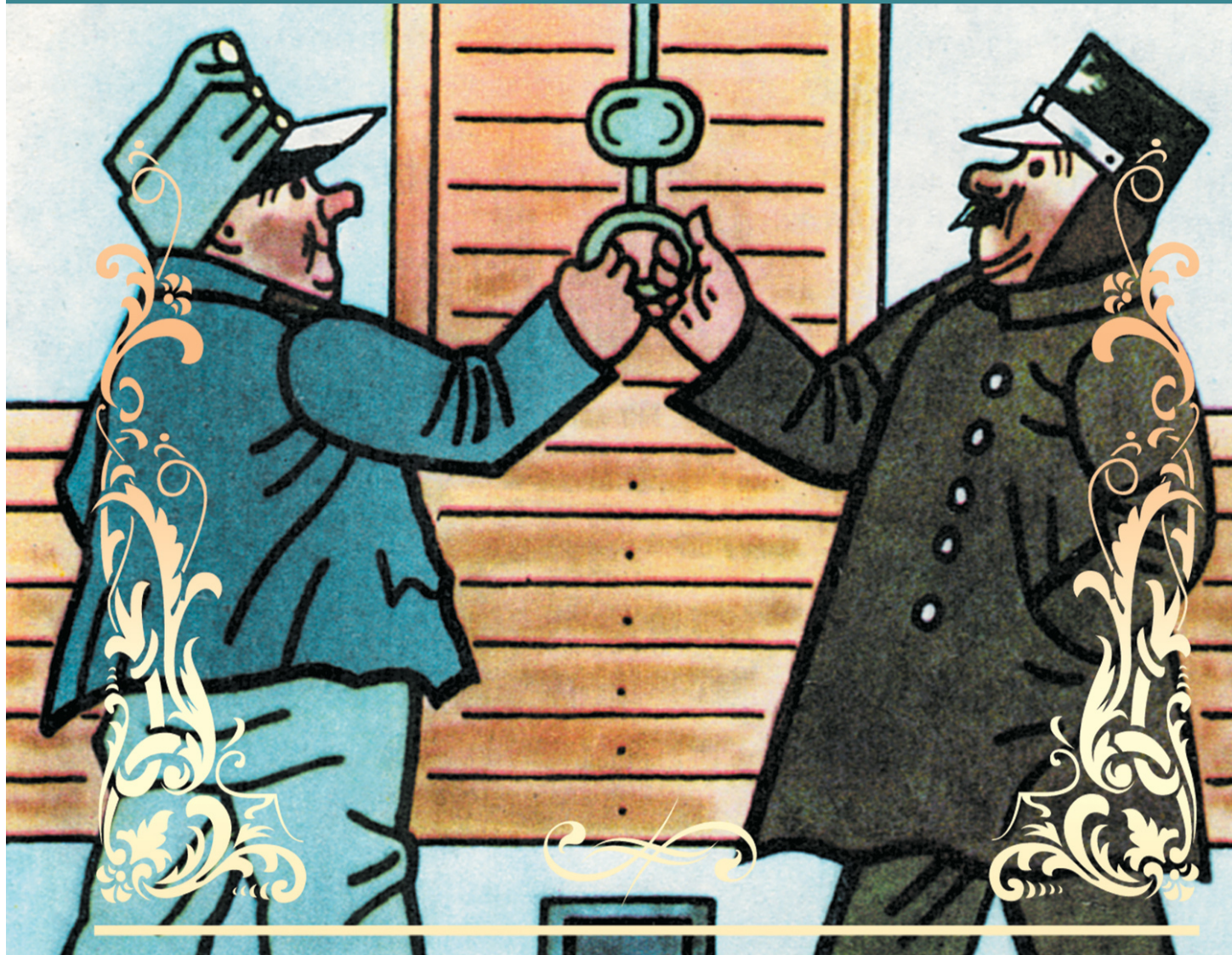


100 великих романов

Ярослав ГАШЕК

ПОХОЖДЕНИЯ
БРАВОГО СОЛДАТА
ШВЕЙКА



100 великих романов

Ярослав Гашек

**Похождения бравого
солдата Швейка**

«ВЕЧЕ»

1922

Гашек Я.

Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек — «ВЕЧЕ»,
1922 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-8773-0

Этот роман Ярослава Гашека (1883–1923) можно по праву считать одной из самых популярных и любимых читателей книг в мире. Да и как не полюбить такого милого и смешного до слез Швейка и его друзей, забавных персонажей солдатских историй и анекдотов, находчивых и неунывающих в самых трудных ситуациях.

ISBN 978-5-4444-8773-0

© Гашек Я., 1922

© ВЕЧЕ, 1922

Содержание

Гашек и Швейк на войне с войной	6
Чехи	6
Гашек	8
Швейк	9
Предисловие	10
Часть первая	11
Глава I	11
Глава II	17
Глава III	22
Глава IV	26
Глава V	29
Глава VI	34
Глава VII	40
Глава VIII	44
Глава IX	54
Глава X	66
Глава XI	80
Глава XII	86
Глава XIII	90
Глава XIV	99
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Ярослав Гашек

Похождения бравого солдата Швейка



Ярослав Гашек

Гашек и Швейк на войне с войной

Чехи

Чехом быть нелегко, но еще труднее быть великим чешским писателем. Хотя бы потому, что уже много столетий отношения чехов с большим миром преимущественно страдательные – они не творят больше Историю, а ее претерпевают. Потерпи и ты, читатель, полезные сведения и историческая эрудиция лишними не бывают.

В междуречьи Эльбы и Дуная западная ветвь славян обосновалась в VI веке н. э., вытеснив отсюда или впитав кельтское племя бойев (память о которых хранит название Богемия, данное этому краю римлянами). Чешская Богемия то входила в состав Великой Моравии, с которой просветители Кирилл и Мефодий начали свою миссию, то сама ее поглощала. В драматическом круговороте средневековой истории этими территориями правили попеременно могучие династии Пржемысловичей, Ягеллонов, Люксембургов, Габсбургов. Когда последние утвердились здесь окончательно, самостоятельная чешская история закончилась на несколько столетий. Дело в том, что по этому краю проходил фронт, где сходились в своем вращении гигантские цивилизационные жернова славянского и германского миров, перемалывая судьбы людей и народов.

Будучи народом немногочисленным и простодушным, чехи за сто лет до Реформации оказались вовлечены в религиозные войны с католическим Римом и германскими императорами – так называемые «гуситские войны». После создания национальной и не вполне ортодоксальной чешской церкви и вероломного сожжения на костре Яна Гуса по приговору собора в Констанце чехи восстали. Они выбросили из окна пражской ратуши немецкого бургомистра – и в ответ получили крестовый поход. Рыцарей-крестоносцев били раз за разом, покуда умеренная часть чехов («чашники») не одолела повстанцев-«таборитов», и не договорилась с католическим Римом и германской Священной Римской империей о заключении мира на приемлемых условиях.

Двести лет спустя за очередной «наезд» на свою протестантскую веру и национальные права чехам вновь пришлось выбрасывать немецких марионеток из окна (такая казнь звалась «дефенестрацией», от немецкого Fenster – «окно»). В пражском замке Градчаны габсбургских наместников сбросили на кучу навоза, что выглядело более гуманно – или осторожно, это как посмотреть. Трагикомическое событие послужило поводом к началу в 1618 году общеевропейской Тридцатилетней войны, в которой германские государства потеряли треть населения, а чехи всю свою аристократию, превратившись, по существу, в обезглавленный и самый «о немецкий» из славянских народов. Как пишет историк Норман Дэвис в своей тысячестраничной «Истории Европы»: «Ко времени Моцарта чехи преимущественно были низведены на уровень крестьянской нации, не имевшей лидеров».

Безраздельно завладевшие Чехией Габсбурги оказались не худшими и довольно просвещенными господами. Под девизом «Пусть сильные развязывают войны. Ты, удачливая Австрия, женись» этой династии удалось создать уникальную славяно-германскую, многонациональную, веротерпимую и какое-то время процветающую империю. Ее называли еще «славянской империей с немецким фасадом», а Меттерних говорил в шутку, что Азия начинается сразу за оградой его венского сада. К концу XIX века государственный гимн в Австро-Венгрии исполнялся уже на 17 языках, включая идиш. Три привилегированные нации, – австрийские немцы, венгры и поляки, – осуществляли власть над остальными, законопослушными и более или менее обездоленными народами. Один из тогдашних премьер-министров признавался: «Моя политика состоит в том, чтобы держать все национальности монархии в состоя-

нии регулируемой неудовлетворенности». Покуда к концу Первой мировой войны не накопилось столько взаимных претензий и пресловутой неудовлетворенности, что осатаневшие нации разорвали в клочья лоскутную шкуру одряхлевшего габсбургского медведя. В результате на политической карте Европы возникли Чехословакия, Польша и ряд других государств.

Чехи обязаны были этим в первую очередь своей выращенной в австрийских университетах интеллигенции, возглавившей национальное возрождение, – общественным деятелям, историкам, литераторам, композиторам. Внес свою лепту в осуществление чешской мечты и Ярослав Гашек. Его книга «Похождения бравого солдата Швейка» говорит о нежелании чехов защищать империю, где они оказались низведены до положения прислуги и людей второго сорта. Уберите из нее войну, и останется лишь шедевр фельетонистики. Но нагрянула большая беда – и книга о похождениях Швейка превратилась в самый антивоенный роман в мировой литературе, написанный чехом, не желавшим воевать.

Гашек

Ярослав Гашек (1883–1923) родился в Праге в семье чешского школьного учителя и уже в тринадцать лет осиротел. Чтобы помочь матери, он оставил учебу и устроился на работу учеником аптекаря, но быстро заскучал и отправился с друзьями бродяжничать по стране, затем по соседним странам, и так пробродяжничал полжизни – не сиделось ему на месте. Выучил кучу языков. Поучился в чешской гимназии, где научился родину любить и с немцами и полицейскими драться на улицах Праги. Успешно окончил коммерческое училище, но в банке не прослужил и полгода. Зарабатывал фельетонистикой, писал очерки городских нравов, редактировал научный журнал «Мир животных» и со скандалом был уволен за неуместные мистификации. С жуликоватым компаньоном торговал дворнягами, сочиняя им родословную. С собутыльниками в пивной учредил и зарегистрировал Партию умеренного прогресса в рамках закона, с треском провалившуюся на выборах. Веселился, короче, и других потешал, за что читатели и завсегдатаи пражских пивных его обожали. Будучи в 1915 году призван в армию и отправлен в арестантском вагоне на Восточный фронт, продолжал прикалываться, симулировать, саботировать, пока не дезертировал и не сдался в Галиции в плен, где словно переродился.

Посидев в российских лагерях для военнопленных, бывший анархист Гашек вступил в РКП(б) и РККА и принялся воевать пером. В 1917 году в Киеве он издал книгу о похождениях бравого солдата Швейка в плену. Затем участвовал на стороне красных в Гражданской войне на Волге и в Сибири, агитировал легионеров Чехословацкого корпуса (кстати, отменно воевавших) переходить на сторону трудового народа. Дошел с Красной Армией до Иркутска, где собрался было поселиться навсегда со своей русской женой, которую звал Шулинькой. Купил там дом.

Но в 1920 году на пороге революции и гражданской войны оказалась сама родина Гашека. Его с женой и другими перековавшимися чешскими легионерами отправили глашатаями мировой революции в Прагу. Тем временем революционная ситуация в Чехии рассосалась, реакция победила. Скандально известному писателю и прежнему любимцу публики устроили обструкцию и травлю в печати. Собирались даже судить его хотя бы за двоеженство, да раздумали, поскольку это означало бы юридическое признание советской власти.

Гашек вернулся на круги свои, засел в пивных, где утром писал главы «Пождений Швейка», а после полудня пропивал гонорар за них с собутыльниками, воодушевленными своим участием в процессе творчества.

Однажды с похмелья и за компанию поехал в местечко Липнице (чешский аналог ерофеевских Петушков), где и был спустя полтора года похоронен. Жизнь в Липнице стала для Гашека его «болдинской осенью». Именно здесь он смог написать и сам же издать в Праге, отдельными выпусками с тремя-четырьмя допечатками, свой знаменитый неоконченный роман о похождениях Швейка. Слава сразу же вернулась к нему в невиданном прежде объеме. Местные жители его обожали, появились и деньги. Он выписал из Праги свою верную Шулиньку, за месяц до смерти успел купить дом.

В Праге никто не верил, что Гашек способен всерьез умереть, поэтому на похороны никто не приехал. Кроме сына от первого брака и того художника, с которым он когда-то за компанию сел в поезд до Липнице...

Швейк

Как выглядел герой самого известного антивоенного и самого чешского романа всем хорошо известно благодаря лубочным иллюстрациям к нему Йозефа Лады. Они, что называется, конгениальны тексту, притом что у Гашека почти ничего не говорится о внешности Швейка. Разве что о такой же круглой, как у самого писателя, физиономии, похожей на кнедлик. Лада, художник-самоучка из крестьян и приятель Гашека, вспоминает, как был разочарован при личном знакомстве с корифеем чешского юмора и сатиры: «круглое полудетское лицо». Но обманчивое простодушие и делает прозу Гашека неотразимой, король в ней всегда голый. Конечно же, это турки убили эрцгерцога, и портрет Франца-Иосифа мухи не «загадили», а за...ли! К сожалению, в русских переводах советского периода смягчался смачный простонародный чешский говор. В послесловии к первой части романа Гашек предостерегал от этого, но не помогло.

Позже всего Гашеку и Швейку стали ставить памятники, как ни странно, на их родине. Образованным чехам все-таки обидно, что во всем мире о чехах судят с оглядкой на роман Гашека о Швейке, и совершенно зря. Ведь недалекий саботажник Швейк вот уже добрую сотню лет сражается с войной и даже побеждает иногда. Его нерасчлененное «первобытное» мышление, ничуть не глупее, чем у англосаксонских судей, всему подыскивающих прецедент, а его философские умозаключения порой обезоруживают образованного и скрывающего свое чешское происхождение поручика Лукаша.

Разве не восхитителен швейковский парадокс: «Если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом»?

Игорь Клев

Предисловие

Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, ни к кому не пристаёт, и к нему не пристаёт журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк».

И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде – тот самый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике.

Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии.

И этого вполне достаточно.

Автор

Часть первая В тылу

Глава I

Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну

– Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка.

Швейк несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных убудков, которым он сочинял фальшивые родословные.

Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком.

– Какого Фердинанда, пани Мюллера? – спросил Швейк, не переставая массировать колени. – Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.

– Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, что жил в Конопипште, того толстого, набожного...

– Иисус Мария! – вскричал Швейк. – Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?

– В Сараеве его уколошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле...

– Скажите на милость, пани Мюллера, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Сараево это в Боснии, пани Мюллера... А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину... Вот какие дела, пани Мюллера. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился?

– Тут же помер, сударь. Известно – с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа.

– Из иного револьвера, пани Мюллера, хоть лопни – не выстрелишь. Таких систем – пропасть. Но для эрцгерцога, наверно, купили что-нибудь этакое, особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога – штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский.

– Там, говорят, народу много было, сударь.

– Разумеется, пани Мюллера, – подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. – Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо – два лучше. Один присоветует одно, другой – другое, «и путь открыт к успехам», как поется в нашем гимне. Главное – разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям! С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллера, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди. У него, у старика-то, много вра-

гов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придет время – эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому – две. Потом его увезли в корзине очухаться... Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он – все свое: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и – бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: раскололо бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.

– А что стало с тем солдатом? – спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался.

– Повесился на помочах, – ответил Швейк, чистя свой котелок. – Да помочи-то были не его, он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать – не ждать же, пока тебя расстреляют? Оно понятно, пани Мюллерова, в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом! Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел небось этого господина и подумал: «Порядочный, должно быть, человек, раз меня приветствует». А тот возьми, да и хлопни его. Одну всадил или несколько?

– Газеты пишут, что эрцгерцог был, как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны.

– Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова. Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг: на вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Во какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет... Ну, я пошел в трактир «У чаши». Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши и, пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы.

В трактире «У чаши» сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Паливец мыл посуду, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор.

Паливец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.

– Хорошее лето стоит, – завязывал Бретшнейдер серьезный разговор.

– А всему этому цена – дерьмо! – ответил Паливец, убирая посуду в шкаф.

– Ну и наделали нам в Сараеве делов! – со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.

– В каком «Сараеве»? – спросил Паливец. – В нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело – Нусле!

– В боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?

– Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами! – вежливо ответил пан Паливец, закуривая трубку. – Нынче вмешиваться в такие дела – того и гляди сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какое-то Сараево, политика

или там покойный эрцгерцог – нас это не касается. Не про нас это писано. Это Панкрацем пахнет.

Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.

– А когда-то здесь висел портрет государя императора, – помолчав, опять заговорил он. – Как раз на том месте, где теперь зеркало.

– Вы справедливо изволили заметить, – ответил пан Паливец, – висел когда-то. Да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?

– В этом Сараеве, должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..

– Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали.

– В каком полку вы служили, уважаемый?

– Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью, – ответил пан Паливец. – На этот счет я не любопытен. Излишнее любопытство вредит.

Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом:

– В Вене сегодня тоже траур.

Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:

– В Конопиште вывешено десять черных флагов.

– Нет, их должно быть двенадцать, – сказал Швейк, отпив из кружки.

– Почему вы думаете, что двенадцать? – спросил Бретшнейдер.

– Для ровного счета – дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит, – ответил Швейк.

Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув:

– Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное! Не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов – мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотре это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве небось тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотре у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц, и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как Лазарь, лежал связанный «козлом». На военной службе должна быть дисциплина – без нее никто бы и пальцем для дела не пошевелил. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.

– Все это сербы наделали, в Сараеве-то, – старался направить разговор Бретшнейдер.

– Ошибаетесь, – ответил Швейк. – Это все турки натворили. Из-за Боснии и Герцеговины.

И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах: турки проиграли в тысяча девятьсот двенадцатом году войну с Сербией, Болгарией и Грецией; они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел – застрелили Фердинанда.

– Ты турок любишь? – обратился Швейк к трактирщику Паливцу. – Этих нехристей? Ведь нет?

– Посетитель как посетитель, – сказал Паливец, – хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай что в голову взбретет – вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, – мне все равно.

– Хорошо, уважаемый, – промолвил Бретшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадется. – Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии.

Вместо трактирщика ответил Швейк:

– Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был быть потолще.

– Что вы хотите этим сказать? – оживился Бретшнейдер.

– Что хочу сказать? – с охотой ответил Швейк. – Вот что. Если бы он был толще, то его уж давно бы хватил кондрашка, еще когда он в Конопиште гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только – дядя государя императора, а его пристрелили! Это же позор, об этом трубят все газеты! Несколько лет назад у нас в Будейовицах на базаре случилась небольшая ссора: проткнули там одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвика. А у него был сын Богуслав, – так тот, бывало, куда ни придет продавать поросят, никто у него ничего не покупает. Каждый, бывало, говорил себе: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже небось порядочный жулик!» В конце концов довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву, потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, воду из него выкачивать... И все же он помер на руках у доктора, после того как тот ему впрыснул чего-то.

– Странное, однако, сравнение, – многозначительно произнес Бретшнейдер. – Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце скотом.

– А какое тут сравнение, – возразил Швейк. – Боже сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать! Вон пан Паливец меня знает, верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет... Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с этакой безобразной фамилией – Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника, Пепика Шалловица из Мыловар, ну и того тоже как-то раз прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у нее уже от этих лесников круглым счетом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яреша, сторожа с Ражицкой запруды. И – что бы вы думали? – его тоже утопили во время рыбной ловли! И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян, а тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в Писеке вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чем не сожалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя императора.

– А вы не знаете, что он про него сказал? – голосом, полным надежды, спросил Бретшнейдер.

– Этого я вам сказать не могу, этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя императора, какие спьяна делаются.

– А какие оскорбления государю императору делаются спьяна? – спросил Бретшнейдер.

– Прошу вас, господа, перемените тему, – вмешался трактирщик Паливец. – Я, знаете, этого не люблю. Сбреднут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.

– Какие оскорбления наносятся государю императору спьяна? – переспросил Швейк. – Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе императоре, что, если бы лишь половина была правда, хватило

бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание: сына Рудольфа он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него про-
ткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата – мексиканского императора – в какой-то крепости поставили к стенке. А теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови! – Швейк основательно хлебнул пива и продолжал: – Вы думаете, что государь император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!

В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все у него выходило просто и ясно.

– Может статься, – продолжал он рисовать будущее Австрии, – что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам не скажу ничего.

Бретшнейдер встал и торжественно произнес:

– Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор.

Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невинен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.

Но Бретшнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.

Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:

– Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.

Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил:

– Вы женаты?

– Да.

– А может ваша жена вести дело вместо вас?

– Может.

– Тогда все в порядке, уважаемый, – весело сказал Бретшнейдер. – Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.

– Не тревожся, – утешал Паливца Швейк. – Я арестован всего только за государственную измену.

– Но я-то за что? – заныл Паливец. – Ведь я был так осторожен!

Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:

– За то, что вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы.

Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой:

– Мне сойти с тротуара?

– Зачем?

– Раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару. Я так полагаю.

Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил:

– Славно провели время! Вы часто бываете «У чаши»?

В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее:

– Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?

Так очаровательно и мило вступил в мировую войну brave солдат Швейк. Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.

Глава II

Бравый солдат Швейк в полицейском управлении

Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил:

– Этот Фердинанд вам дорого обойдется!

Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой – мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что кого посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ.

– Из-за Сараева.

– Из-за Фердинанда.

– Из-за убийства эрцгерцога.

– За Фердинанда.

– За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.

Шестой, – он всех сторонился, – заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрения, – он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа.

Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как попали в тюрьму.

Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребе, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин с заплаканными глазами в очках; он был арестован у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов-техников «У Брейшки», а кроме того, агент Бриксы видел его, пьяного, в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржетезовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету.

На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:

– У меня писчебумажный магазин!

На что получал такой же стереотипный ответ:

– Это для вас не оправдание.

Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребе, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он, заканчивая общий психологический анализ покушения, объявил:

– Идея покушения проста, как колумбово яйцо.

– Как то, что вас ждет Панкрац, – дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе.

Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель Добролюбах добродушно сказал:

– Подождите минутку, вот только доиграют «Гей, славяне».

Теперь он сидел повесив голову и причитал:

– В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.

Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побив трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал:

– Семь пулек, как в Сараеве!

У пятого, который, как он сам признался, сидит «из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве», еще до сих пор от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не вымолвил ни единого слова, этот даже не читал газет об убийстве Фердинанда: в полном одиночестве он сидел у стола, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил:

– Читали об этом?

– Не читал.

– Знаете про это?

– Не знаю.

– А знаете, в чем дело?

– Не знаю и знать не желаю.

– Все-таки это должно было бы вас интересовать.

– Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?

– Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?

– Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать.

На том разговор и окончился. С этого момента через каждые пять минут он только громко уверял:

– Я не виновен, я не виновен!

С этими словами он вошел в ворота полицейского управления. И то же самое он будет твердить, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру.

Выслушав эти страшные истории государственных изменников, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения.

– Наше дело дрянь, – начал он слова утешения. – Это неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас: веселее будет. Когда я служил на военной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами! Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под Рождество: он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия – дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать, – не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будейовицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собою разумеется,

я оказался десятым. Стали по стойке «смирно» и «не моргни». Капитан рассказывает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуска не дам, всех на две недели без отпуска!..» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо.

– Я не виновен, я не виновен! – повторял взъерошенный человек.

– Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Maul halten und weiter dienen»¹, как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбленное дело.

Швейк лег на койку и спокойно заснул.

Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Вторым был трактирщик Паливец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул:

– Я уже здесь!

Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:

– Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность – вещь хорошая.

Но Паливец заявил, что такой точности цена – дерьмо, и шепотом спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные: ему как трактирщику это может повредить.

Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голицкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании: сидят из-за эрцгерцога.

Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя императора.

– Замарали мне его, бестии, – закончил он описание своих злоключений, – и под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! – добавил он угрожающе.

Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос.

Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись: «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:

– Добрый вечер всей честной компании!

Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо «Типы преступников».

Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:

– Не прикидывайтесь идиотом.

– Ничего не поделаешь, – серьезно ответил Швейк. – Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я – официальный идиот.

Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.

– Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти.

И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда;

¹ Держи язык за зубами и служи (нем.).

отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.

– Что вы на это скажете? – победоносно спросил господин со звериными чертами лица.

– Этого вполне достаточно, – невинно ответил Швейк. – Излишество вредит.

– Вот видите, вы же сами признаете...

– Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Это, знаете, когда я служил на военной службе...

– Молчать! – крикнул полицейский комиссар на Швейка. – Отвечайте только, когда вас спрашивают! Понимаете?

– Как не понять, – согласился Швейк. – Осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите сказать, сумею разобраться.

– С кем состоите в сношениях?

– Со своей служанкой, ваша милость.

– А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?

– Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку».

– Вон! – заревел господин со зверским выражением лица.

Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал:

– Спокойной ночи, ваша милость.

Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один: немножко на вас покричат, а под конец выгонят.

– Раньше, – заметил Швейк, – бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме – одно удовольствие! – похваливал Швейк. – Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос – по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого – туда. Тут молодой, там старик, мужчины, женщины. Радует, что ты по крайней мере здесь не одинок. Всяк спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посоветались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены, по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор! Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.

Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:

– Швейк, оденьтесь и идите на допрос!

– Я оденусь, – ответил Швейк. – Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И, кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду уже во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии.

– Вылезти и не трепаться! – последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство.

Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно.

– Во всем признаетесь?

Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал:

– Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чем не сознавайтесь», – я буду выкручиваться до последнего издыхания.

Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.

И Швейк подписал показания Бретшнейдера со следующим дополнением:

«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми.

Йозеф Швейк».

Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину:

– Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?

– Утром вас отвезут в уголовный суд, – последовал ответ.

– А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспять?

– Вон! – раздался во второй раз рев по ту сторону стола.

Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:

– Тут все идет как по писаному.

Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил:

– Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.

Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.

Только босниец сказал:

– Приветствую!

Укладываясь на койку, Швейк заметил:

– Глупо, что у нас нет будильника.

Утром его все-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд.

– Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, – сказал своим спутникам Швейк, когда «зеленый Антон» выезжал из ворот полицейского управления.

Глава III

Швейк перед судебными врачами

Чистые, уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление: выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини, старший надзиратель подследственной тюрьмы, с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в Великопостную среду и в Страстную пятницу.

Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того чтобы честно умыть руки, посылали к «Тессигу» за жарким под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру.

Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов.

Исключение составляли несколько человек (точно так же, как и в полицейском управлении), которые не принимали закон всерьез. Ибо и между плевелами всегда найдется пшеница.

К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой добродушный человек; рассказывают, что когда-то, допрашивая известного убийцу Валеша, он то и дело предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул».

Когда ввели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал:

– Так вы, значит, тот самый пан Швейк?

– Я думаю, что им и должен быть, – ответил Швейк, – раз мой батюшка был Швейк и маменька звалась пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии.

Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя.

– Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.

– У меня всегда много кое-чего на совести, – ответил Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. – У меня на совести, может, еще побольше, чем у вас, ваша милость.

– Это видно из протокола, который вы подписали, – не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. – А на вас в полиции не оказывали давления?

– Да что вы, ваша милость. Я сам их спросил, должен ли это подписывать, и, когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы это, безусловно, не принесло. Во всем должен быть порядок.

– Пан Швейк, чувствуете вы себя вполне здоровым?

– Совершенно здоров – так, пожалуй, сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь опodelьдоком.

Старик опять любезно улыбнулся.

– А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?

– Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера.

– Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем

отдохнете как следует. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война?

– Разразится, ваша милость господин советник, очень скоро разразится.

– Не страдаете ли вы падучей?

– Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это случилось много лет тому назад.

На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил своим соседям:

– Ну вот, стало быть, из-за убийства эрцгерцога Фердинанда меня осмотрят судебные доктора.

– Меня тоже осматривали судебные врачи, – сказал молодой человек, – когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то это пригодится на всю жизнь.

– Я этим судебным врачам нисколько не верю, – заметил господин интеллигентного вида. – Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха. Потом меня поймали, и я симулировал паралитика в точности так, как их описывал профессор Геверох: укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.

– Я этих осмотров совершенно не боюсь, – заявил Швейк. – На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо.

– Судебные доктора – стервы! – отозвался скрюченный человечек. – Недавно на моем лугу случайно выкопали скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек сорок лет тому назад скончался от удара каким-то тупым орудием по голове. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке.

– Я думаю, – сказал Швейк, – что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься. Врачи – тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от «Банзета», ко мне подошел один господин и хватя арапником по голове; я, понятно, свалился наземь, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» Да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано – ошибаться до самой смерти. Вот однажды был такой случай: один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного пса, взял его с собою домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу еще пример, как ошибся один токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костел, думая, что домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся покрывалами со священными надписями, а под голову положил евангелие и еще другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хорошая ошибка! – говорит церковный сторож. – Из-за такой ошибки нам придется снова освящать костел». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, и те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый, – дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в Панкраце... Приведу вам еще один пример, как полицейская собака, овчарка знаменитого ротмистра Роттера, ошиблась в Кладно. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной.

Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот привели к нему однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он сидел там на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный. И министры ошибаются.

Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров.

И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к полному соглашению, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул: «Господа, да здравствует государь император Франц-Иосиф Первый!»

Дело было совершенно ясно. Благодаря сделанному Швейком, по собственному почину, заявлению целый ряд вопросов отпал и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Каллерсона, доктора Гевеиха и англичанина Вейкинга.

– Радий тяжелее олова?

– Я его, извиняюсь, не вешал, – со своей милой улыбкой ответил Швейк.

– Вы верите в конец света?

– Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его еще не будет, – небрежно бросил Швейк.

– А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?

– Извиняюсь, не смог бы, – сказал Швейк. – Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку, – продолжал он. – Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше – два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?

Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее один из них задал еще такой вопрос:

– Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?

– Этого, извините, не знаю, – послышался ответ, – но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Влтаве.

– Достаточно? – лаконически спросил председатель комиссии.

Но один из членов попросил разрешения задать еще один вопрос:

– Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?

– Семьсот двадцать девять, – не моргнув глазом ответил Швейк.

– Я думаю, вполне достаточно, – сказал председатель комиссии. – Можете отвести обвиняемого на прежнее место.

– Благодарю вас, господа, – вежливо сказал Швейк, – с меня тоже вполне достаточно.

После ухода Швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу: Швейк – круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим стояло:

«Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из заявления “да здравствует император Франц-Иосиф Первый”, какового вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого нижеподписавшаяся комиссия предлагает:

1. Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и
2. Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих».

В то время как состоялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме:

– На Фердинанда наплевали, а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили, и разошлись.

– Никому я не верю, – заметил скрюченный человечек, на лугу которого случайно выкопали скелет. – Кругом одно жульничество.

– Без жульничества тоже нельзя, – возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрац. – Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.

Глава IV

Швейка выгоняют из сумасшедшего дома

Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой.

– По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это – самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью мать, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке.) Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом жрал. Впрочем, там никто этого не стыдится. А один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали связанным в смиренной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там с несколькими профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прародина цыган была в Крконошах, а другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то принялись там рассказывать сказки, да подрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово «переплетное шило», – иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смиренную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще жилось там как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыряться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.

И правда, даже самый прием, который оказали Швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошел все его ожидания. Прежде всего Швейка раздели донага, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив под мышки, причем один из санитаров развлекал его еврейским анекдотом. В купальной его погрузили в ванну с теплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это проделали с ним трижды, потом осведомились, как ему нравится. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста, и что он страшно любит купаться. «Если вы еще острижете мне ногти и волосы, то я буду совершенно счастлив», – прибавил он, мило улыбаясь.

Его желание было исполнено. Затем Швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть.

Швейк еще и теперь с любовью вспоминает это время:

– Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. В тот момент я испытал неземное блаженство.

На постели Швейк заснул безмятежным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того как кормят клетками гусей.

Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.

Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: «Один из них при этом держал меня на руках», – вспоминал Швейк.

Затем его привели назад, уложили в постель и опять попросили уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и с его уст невольно сорвалось:

– Tauglich!²

– Что вы говорите? – спросил один из докторов. – Сделайте пять шагов вперед и пять назад.

Швейк сделал десять.

– Ведь я же вам сказал, – заметил доктор, – сделать пять.

– Мне лишней пары шагов не жалко.

После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул; один из них несколько раз стукнул пациента по коленке, затем сказал другому, что рефлексy вполне нормальны, на что тот покачал головой и сам принялся стучать Швейка по коленке, в то время как первый открывал Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами.

– Послушайте, вы умеете петь? – спросил у Швейка один из докторов. – Не могли бы вы спеть нам какую-нибудь песню?

– Сделайте одолжение, – ответил Швейк. – Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас я попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься.

И Швейк хватил:

Что, монашек молодой,
Головушку клонишь,
Две горячие слезы
Ты на землю ронишь?

– Дальше не знаю, – прервал Швейк. – Если желаете, спою вам:

Ох, болит мое сердечко,
Ох, тоска запала в грудь.
Выйду, сяду на крылечко
На дороженьку взглянуть.
Где же ты, милая зазноба...

– Дальше тоже не знаю, – вздохнул Швейк. – Знаю еще первую строфу из «Где родина моя» и потом «...Виндишгрец и прочие генералы, утром спозаранку войну начинали», да еще

² Годен (нем.).

пару простонародных песенок вроде «Храни нам, Боже, государя», «Шли мы прямо в Яромерь» и «Достойно есть, яко воистину...»

Оба доктора переглянулись, и один из них спросил:

– Ваше психическое состояние уже исследовали когда-нибудь?

– На военной службе, – торжественно и гордо ответил Швейк. – Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.

– Сдается мне, что вы симулянт! – обрушился на Швейка другой доктор.

– Совсем не симулянт, господа! – защищался Швейк. – Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии Девяносто первого полка в Чешских Будейовицах или в Управлении запасных в Карлине.

Старший врач безнадежно махнул рукой и, указывая на Швейка, сказал санитарам:

– Верните этому человеку одежду и передайте его в третье отделение в первый коридор.

Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию. Да скажите там, чтоб долго не канителились, чтобы он у нас долго на шее не сидел.

Врачи еще раз презрительно посмотрели на Швейка, который пятился к дверям, учтиво кланяясь. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил:

– Я ведь не одет, совсем нагишом, в чем мать родила, вот я и не хочу показывать панам того, что заставило бы их подумать, будто я невежа или нахал.

С того момента, как санитары получили приказ вернуть Швейку одежду, они перестали о нем заботиться, велели одеться, и один из них отвел его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нем такое заключение: «Слабоумный симулянт».

Так как Швейка выписали из лечебницы перед самым обедом, дело не обошлось без небольшого скандала.

Швейк заявил, что если уж его выкидывают из сумасшедшего дома, то не имеют права не давать ему обеда.

Скандал прекратил вызванный привратником полицейский, который отвел Швейка в полицейский комиссариат на Сальмовой улице.

Глава V

Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице

За прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в свое время произносили: «Киньте этого негодяя христианина львам!» – инспектор Браун сказал:

– За решетку его!

Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал:

– Я готов, господа. Как я понимаю, «за решетку» означает – в одиночку, а это не так уж плохо.

– Не очень-то здесь распространяйся, – сказал полицейский, на что Швейк ответил:

– Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете.

В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу.

– Мое почтение, сударь, – сказал Швейк, присаживаясь на нары. – Не знаете ли, который теперь час?

– Мне теперь не до часов, – ответил задумчивый господин.

– Здесь недурно, – попытался завязать разговор Швейк. – Нары из струганого дерева.

Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти.

А Швейк между тем с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласил: «Вам это даром не пройдет!» Другой арестованный написал: «Ну вас к черту, петухи!» Третий просто констатировал факт: «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Маречек из Вршовиц». Была и надпись, потрясающая своей глубиной: «Помилуй мя, господи!»

А под этим: «Поцелуйте меня в ж...»

Буква «ж» все же была перечеркнута, и сбоку приписано большими буквами: «*Фалду*». Рядом какая-то поэтическая душа накарябала стихи:

У ручья печальный я сижу,
Солнышко за горы уж садится,
На пригорок солнечный гляжу,
Там моя любезная томится...

Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец, запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил:

– Выпустите меня!.. Нет, они меня не выпустят, – через минуту сказал он как бы про себя, – не выпустят, нет, нет. Я здесь с шести часов утра.

На него вдруг ни с того ни с сего напала болтливость. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку:

– Нет ли у вас, случайно, при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

– С большим удовольствием могу вам услужить, – ответил Швейк, снимая свой ремень. – Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне... Одно только досадно, – заметил он, оглядев камеру, – тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве что на нарах, опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаузского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы очень нравятся. Так извольте...

Хмурый господин, которому Швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками слезы и выкрикивая:

– У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни, Иисус Мария! Бедная моя жена! Что скажут на службе! У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни!

И так далее, до бесконечности.

Наконец он как будто немного успокоился, подошел к двери и начал колотить в нее руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос:

– Чего надо?

– Выпустите меня! – проговорил он таким тоном, словно это были его предсмертные слова.

– Куда? – раздался вопрос с другой стороны двери.

– На службу, – ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник.

Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора... И шаги опять стихли.

– Видно, этот господин здорово ненавидит вас, коли так насмехается, – сказал Швейк, в то время как его безутешный сосед опять уселся рядом. – Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда он взбешен, то пощады не жди. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?

– Трудно сказать, – вздохнул тот. – Дело в том, что я сам не помню, что такое я натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, закурить сигару. А началось все так хорошо... Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый...

– Не могу ли я помочь вам считать? – вызвался Швейк. – Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил.

– Словом, – продолжал несчастный подчиненный того начальника, который так великолепно справлял свои именины, – когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его загодя привязали на веревочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились его разыскивать и под конец растеряли друг друга. Я очутился в одном из ночных кабачков на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом – не помню... Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кельнера в краже двенадцати крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал... по крайней мере не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил... Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь!

– А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску, или вы ее раскололи с одного маху? – вместо ответа поинтересовался Швейк.

– Сразу, – ответил интеллигентный господин.

– Тогда вы пропали, – задумчиво произнес Швейк. – Вам докажут, что вы готовились к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомого господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом? – И, не ожидая ответа, пояснил: – Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезное преступление.

– На суде?... – малодушно пролепетал почтенный отец семейства и повесив голову впал в то неприятное состояние духа, когда человека пожирают упреки совести³.

– А дома знают, что вы арестованы, или они узнают только из газет? – спросил Швейк.

– Вы думаете, что это появится... в газетах? – наивно спросила жертва именин своего начальника.

– Вернее верного, – последовал искренний ответ, ибо Швейк никогда не имел привычки скрывать что-нибудь от собеседника. – Читателям газет это очень понравится. Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактире «У чаши» один посетитель выкинул такой номер: разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил ее кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже читали в газетах об этом. Или, например, в «Бендловке» съездил я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он дал мне сдачи. Для того чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку, и это сейчас же появилось в «Вечерке»... Или еще случай: в кафе «У мертвеца» один советник разбил два блюда. Так, думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты... Вам остается одно: послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас-де не касается и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок... Вам не холодно? – участливо спросил Швейк, заметив, что интеллигентный господин дрожит, как в лихорадке. – В этом году конец лета что-то холодноват.

– Погибший я человек! – зарыдал сосед Швейка. – Не видать мне повышения...

– Что и говорить, – участливо подхватил Швейк. – Если вас после отсидки обратно на службу не примут, – не знаю, скоро ли вы найдете другое место, потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодера, от вас потребуют свидетельство о благонравном поведении. Да, это удовольствие вам дорого обойдется... А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? Или же ей придется побираться Христа ради, а деток научить разным мошенничествам?

В ответ послышались рыдания:

– Бедные мои детки! Бедная моя жена!

Кающийся грешник встал и заговорил о своих детях:

– У меня их пятеро, самому старшему двенадцать лет, он в скаутах, пьет только воду и мог бы служить примером своему отцу, с которым, право же, подобный казус случился в первый раз в жизни.

– Он скаут? – воскликнул Швейк. – Люблю слушать про скаутов! Однажды в Мылова-рах под Зливой, в районе Глубокой, округ Чешских Будейовиц, как раз когда наш Девяносто первый полк был там на учении, окрестные крестьяне устроили облаву на скаутов, которых очень много развелось в крестьянском лесу. Поймали они трех. И представьте себе, самый маленький из них, когда его взяли, так отчаянно визжал и плакал, что мы, бывалые солдаты, не могли без жалости на него смотреть, не выдержали... и отошли в сторону. Пока их связывали, эти три скаута искушали восемь крестьян. Потом под розгами старосты они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. Да, кстати,

³ Некоторые писатели употребляют выражение «грызут упреки совести». Я не считаю это выражение вполне точным. Ведь и тигр человека пожирает, а не грызет.

они признались еще и в том, что у Ражиц перед самой жатвой сгорела совершенно случайно полоса ржи, когда они жарили там на вертеле серну, к которой с ножом подкрались в крестьянском лесу. Потом в их логовище в лесу нашли больше пятидесяти кило обглоданных костей от всякой домашней птицы и лесных зверей, огромное количество вишневых косточек, пропасть огрызков незрелых яблок и много всякого другого добра.

Но несчастный отец скаута все-таки не мог успокоиться.

– Что я наделал! – причитал он. – Погубил свою репутацию!

– Это уж как пить дать, – подтвердил Швейк со свойственной ему откровенностью. – После того, что случилось, ваша репутация погублена на всю жизнь. Ведь если об этой истории напечатают в газетах, то кое-что к ней прибавят и ваши знакомые. Это уже в порядке вещей, лучше не обращайтесь внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда.

В коридоре раздались грузные шаги, в замке загремел ключ, дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка.

– Простите, – рыцарски напомнил Швейк. – Я здесь только с двенадцати часов дня, а этот господин с шести утра. Я особенно не тороплюсь.

Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестницам на второй этаж.

В комнате за столом сидел бравый толстый полицейский комиссар. Он обратился к Швейку:

– Так вы, значит, и есть Швейк? Как вы сюда попали?

– Самым простым манером, – ответил Швейк. – Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.

– Знаете что, Швейк, – примирительно сказал комиссар, – зачем нам с вами ссориться здесь, на Сальмовой улице? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?

– Вы, как говорится, являетесь господином положения, – с удовлетворением ответил Швейк. – А пройтись вечером в полицейское управление – совсем не дурно – это будет небольшая, но очень приятная прогулка.

– Очень рад, что мы с вами так легко договорились, – весело заключил полицейский комиссар. – Договориться – самое разлюбезное дело. Не правда ли, Швейк?

– Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими, – ответил Швейк. – Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты.

Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского, который нес под мышкой объемистую книгу с немецкой надписью: «Arestantenbuch»⁴.

На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением.

– Это манифест государя императора об объявлении войны, – сказал Швейку конвоир.

– Я это предсказывал, – бросил Швейк. – А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил полицейский.

– Ведь там много господ офицеров, – объяснил Швейк.

Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул:

⁴ Книга записи арестованных (нем.).

– Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!

Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления.

– Эту войну мы безусловно выиграем, еще раз повторяю, господа! – С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой.

В далекие, далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.

Глава VI

Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома

От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрехшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово.

– Мне очень, очень жаль, – сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели Швейка, – что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь... но, увы, мы обманулись.

Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил:

– Не стройте из себя дурака! – Однако тотчас же опять перешел на ласковый тон: – Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?

Швейк откашлялся.

– Я, извиняюсь, ничего о глупостях не знаю.

– Ну, разве это не глупость, пан Швейк, – увещевал хищник слащаво-отеческим тоном, – когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками: «Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!»

– Я не мог оставаться в бездействии, – объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. – Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни «ура»... вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат Девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверно, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь, – мы должны довести ее до победного конца, должны постоянно провозглашать славу государю императору. Никто меня в этом не разубедит.

Прижатый к стене черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:

– Я вполне понял бы ваше воодушевление, если б оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление.

– Идти под конвоем полицейского – это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох.

Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил ему своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом.

С минуту они пристально смотрели друг на друга.

– Идите к черту, – пробормотало наконец чиновничье рыло. – Но если вы еще раз сюда попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд на Градчаны. Понятно?

И не успел он договорить, как неожиданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал:

– Да вознаградит вас Бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками.

Так Швейк опять очутился на свободе.

По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», и в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.

В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей и среди них – церковный сторож из церкви Св. Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, тупо глядя на пивные краны.

– Вот я и вернулся! – весело сказал Швейк. – Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Паливец? Небось уже дома?

Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала:

– Дали ему... десять лет... неделю тому назад...

– Ну, вот видите! – сказал Швейк. – Значит, семь дней уже отсидел.

– Он был такой... осторожный! – рыдала хозяйка. – Он сам это всегда о себе говорил...

Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Паливца, призывая к еще большей осторожности.

– Осторожность – мать мудрости, – сказал Швейк усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пивной пене которого образовалось несколько дырочек – туда капнули слезы жены Паливца, когда она несла пиво на стол. – Нынче время такое, приходится быть осторожным.

– Вчера у нас было двое похорон, – попытался перевести разговор на другое церковный сторож от Св. Аполлинария.

– Видать, помер кто-нибудь! – заметил другой посетитель.

Третий спросил:

– Покойного-то на катафалке везли?

– Интересно, – сказал Швейк, – как будут происходить военные похороны во время войны?

Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Паливцовой.

– Не представляю себе, – произнес Швейк, – чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам – такое я слышал, но на десять – это уж, пожалуй, многовато!

– Что же поделаешь, ведь мой-то признался, – плакала жена Паливца. – Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении суда повторил. Вызвали меня свидетельницей, да что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем... Я перепугалась этих родственных отношений – как бы из этого еще чего-нибудь не вышло – и отказалась давать показания. Старик, бедняга, так на меня посмотрел... до самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил: «Да здравствует “Свободная мысль!”»

– А пан Бретшнейдер сюда больше не заходит? – спросил Швейк.

– Заходил несколько раз, – ответила трактирщица. – Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Бретшнейдера, говорят только про футбол, а его от этого передергивает – того и гляди судороги сделаются и он взбесится. За все это время к нему на удочку попался только один обойщик с Поперечной улицы.

– Это дело навыка, – заметил Швейк. – Обойщик-то был глуповат, что ли?

– Ну, как мой муж, – ответила с плачем хозяйка. – Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там корону. Тут мы все услышали, как пан Бретшнейдер произнес, вынув свою записную книжку: «Ага! Еще одна хорошенькая государственная измена!» – и вышел с этим обойщиком с Поперечной улицы, и тот уже больше не вернулся.

– Много их не возвращается, – сказал Швейк. – Дайте-ка мне рому.

Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бретшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего.

Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил:

– Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачиневес, продает усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога.

Бретшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку:

– Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?

– Ах, это вы? – воскликнул Швейк, подавая ему руку. – А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Ну, что поделяваете? Часто заглядываете сюда?

– Сегодня я пришел, чтобы повидать вас, – сказал Бретшнейдер. – В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде...

– Это все мы вам можем предоставить, – ответил Швейк. – Желаете чистокровного или так... с улицы?

– Я думаю приобрести чистокровного пса, – ответил Бретшнейдер.

– А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку? – спросил Швейк. – Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника в Вршовицах есть такой пес; он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, работает не по специальности.

– Мне бы хотелось шпица, – сдержанно повторил Бретшнейдер, – шпица, который бы не кусался.

– Желаете беззубого шпица? – осведомился Швейк. – Есть такой на примете: в Дейвицах, у одного трактирщика.

– Пожалуй, лучше уж пинчера... – нерешительно произнес Бретшнейдер, собаководческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрел о собаках никаких сведений.

Но приказ был точный, ясный и определенный: во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Бретшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.

– Пинчеры бывают покрупнее и помельче, – сказал Швейк. – Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. Могу их вам от всей души порекомендовать.

– Это бы мне подошло, – заявил Бретшнейдер. – А сколько стоит пинчер?

– Смотря по величине, – ответил Швейк. – Все зависит от величины. Пинчер не теленок, с пинчерами дело обстоит как раз наоборот: чем меньше, тем дороже.

– Я взял бы покрупнее, дом сторожить, – сказал Бретшнейдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции.

– Отлично! – подхватил Швейк. – Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного – по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь: вам щенят или постарше, и потом: кобельков или сучек?

– Мне все равно, – ответил Бретшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. – Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. Договорились?

– Договорились, приходите, – неохотно согласился Швейк. – В таком случае я бы попросил у вас задаток – тридцать крон.

– Какие могут быть разговоры! – сказал Бретшнейдер, отсчитывая деньги. – Ну а теперь мы с вами разопьем по четвертинке на мой счет...

Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Потом заказал Бретшнейдер, он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике.

Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит, да вообще вся политика – занятие для детей младшего возраста.

Бретшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи.

Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок сенбернара, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок все равно издох.

Когда выпили по пятой, Бретшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться.

Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса.

За шестой четвертинкой Бретшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо:

– Только что вошел какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет.

Жена Паливца действительно плакала на стуле за стойкой.

– Чего вы плачете, хозяйшюка? – спросил Бретшнейдер. – Через три месяца мы победим, будет амнистия – и ваш муж вернется. Вот тогда уж мы закатим пирушку!.. Или вы не верите, что мы победим? – обратился он к Швейку.

– Зачем пережевывать одно и то же? – сказал Швейк. – Должны победить – и баста! Ну, мне пора домой.

Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, пани Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, не кто иной, как сам Швейк.

– А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет, – сказала она с присущей ей откровенностью, – и я тут... из жалости... на время... взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что... у нас тут три раза был обыск, и, после того как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо и по всему виду – вы опытный преступник.

Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами: он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дам-

ского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из «ночного кафе» вернулся вчера со своей дамой навеселе.

– Сударь, – сказал Швейк, трясая незваного гостя, – сударь, как бы вам не опоздать к обеду. Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда.

Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из «ночного кафе» раскусил наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права.

По свойственной всем швейцарам «ночных кафе» привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитывает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше.

Швейк между тем собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал:

– Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым.

– Я хотел спать до восьми часов вечера, – проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. – Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе... Маржена, вставай!

Надев воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда.

Однако его партнерша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было: «Олух царя небесного!»

После ухода непрошенных жильцов Швейк пошел позвать пани Мюллерову, чтобы вместе с нею навести порядок, но ее и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано:

«Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна».

– Врет! – сказал Швейк и стал ждать.

Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения.

– Если хотите броситься из окна, – сказал Швейк, – так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придется платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар и, если повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги и вам придется платить за лечение в больнице.

Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату Швейка... закрыла окно и, вернувшись, сказала:

– Дует, а при вашем ревматизме это нехорошо, сударь.

Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она, все еще заплаканная, вошла в кухню и доложила Швейку:

– Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подошли, а сенбернар сбежал во время обыска.

– Черт возьми! – воскликнул Швейк. – Он может влипнуть в историю! Теперь, наверное, его будет отслеживать полиция.

– Он укусил одного из господ полицейских комиссаров, – продолжала пани Мюллерова, – когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под

кроватку кто-то есть, и сенбернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сенбернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно – помните, шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика», а вместо нее послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной боязно не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили.

– Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова! – вздохнул Швейк. – Вот скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками.

Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ – 40 к.; ФТ – 50 к.; Л – 80 к. и так далее, но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л – это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ черно-желтому орлу.

В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ – фокстерьера, а Л – леонберга. Всех этих собак Бретшнейдер привел от Швейка в полицейское управление.

Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру. Сенбернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой; фокстерьер, с ушами таксы, был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом; леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.

Сам сыщик Калоус заходил к Швейку купить собаку... и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка: Д – 90 к. Этот урод должен был изображать дога. Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Бретшнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Бретшнейдер увозил с собой от Швейка еще одно чудовище, самого невероятного убогодка.

Этим кончил знаменитый сыщик Бретшнейдер. Когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам.

В полицейском управлении в его послужной список, в графу «Повышения по службе», были занесены следующие полные трагизма слова: «Сожран собственными псами».

Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал:

– Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придется предстать на Страшном суде.

Глава VII

Швейк идет на войну

В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Раб, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге, в Сербии, австрийским дивизиям, одной за другой, высыпали по первое число (что они уже давно заслужили), австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу.

Когда Швейку принесли повестку о том, что через неделю он должен явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, лежал в постели: у него опять начался приступ ревматизма. Пани Мюллерова варила ему на кухне кофе.

– Пани Мюллерова, – послышался из соседней комнаты тихий голос Швейка, – пани Мюллерова, подойдите ко мне на минуточку.

Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес:

– Присядьте, пани Мюллерова.

Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерова села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил:

– Я иду на войну.

– Матерь Божья! – воскликнула пани Мюллерова. – Что вы там будете делать?

– Сражаться, – грубоватым голосом ответил Швейк. – У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу – на Венгрию. Высыпали нам и в хвост и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал вам в газете, что «дорогую родину заволокли тучи».

– Но ведь вы не можете пошевелиться!

– Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу.

Пани Мюллерова заплакала.

– Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?

– Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги... Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе.

И в то время как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лежа в кровати:

Виндишгрец и прочие паны генералы

Утром спозаранку войну начинали.

Гоп, гоп, гоп!

Войну начинали, к господе взывали:

«Помоги, Христос, нам с матерью пречистой!»

Гоп, гоп, гоп!

Испуганная пани Мюллерова под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясаясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати:

С матерью пречистой. Вон – четыре моста.

Выставляй, Пьемонт, посильней форпосты.
Гоп, гоп, гоп!
Закипел тут славный бой у Сольферино,
Кровь лилась потоком, как из бочки винной.
Гол, гоп, гоп!
Кровь из бочки винной, а мяса – фургоны!
Нет, не зря носили ребята погоны.
Гоп, гоп, гоп!
Не робей, ребята! По пятам за вами
Едет целый воз, груженный деньгами.
Гоп, гоп, гоп!

– Ради бога, сударь, прошу вас! – раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца:

Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей.
Ну, в каком полку веселей, чем в нашем?
Гоп, гоп, гоп!

Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал.

Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб, и сказал:

– Не бойтесь, я – доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр суньте себе под мышку. Так. Покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?

Итак, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне.

– Лежите смирно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас.

На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой, как себя чувствует пациент.

– Хуже ему, пан доктор, – с искренней грустью ответила пани Мюллерова. – Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн.

На это новое проявление лояльности пациента доктор Павек счел необходимым реагировать повышенной дозой брома. На третий день пани Мюллерова доложила доктору, что Швейку еще хуже.

– После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит.

– А порошки принимает точно по предписанию?

– Он за ними еще и не посылал, пан доктор.

Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, который отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушел.

Оставалось еще два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления: во-первых, послал пани Мюллерову купить форменную фуражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку недоставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и, где только ни появлялась, всюду плакала.

Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот, ни на минуту не переставая, кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!»

За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурш в корпорантской шапочке, закричавший Швейку:

– Heil! Nieder mit den Serben!⁵

На углу Водичковой улицы подросевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал пристапу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршелецкий остров.

Обо всем происшедшем в «*Пражской официальной газете*» была помещена следующая статья:

ПАТРИОТИЗМ КАЛЕКИ

Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв «На Белград!» встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому.

В том же духе писал и «*Прагер Тагблатт*», где статья заканчивалась такими словами: «Калеку-добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты».

«*Богемия*», тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награжден, и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя.

Итак, эти три газеты считали, что чешская страна не могла дать более благородного гражданина. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда. Особенно старший военный врач Баутце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы – от фронта, от пули и шрапнелей. Известно его выражение: «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande»⁶. За десять недель своей деятельности он из 11 000 граждан выловил 10 999 симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: «Kehrt euch!»⁷.

– Уберите этого симулянта, – приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер.

И вот в этот памятный день перед Баутце предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался.

⁵ Хайль! Долой сербов! (нем.)

⁶ Весь чешский народ – банда симулянтов (нем.).

⁷ Кругом! (нем.)

– Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt⁸, – сказал Баутце, – таких фиговых листков в раю не было.

– Освобожден по идиотизму, – огласил фельдфебель, просматривая его документы.

– А еще чем больны? – спросил Баутце.

– Осмелюсь доложить, у меня ревматизм. Но служить буду государю императору до последней капли крови, – скромно сказал Швейк. – У меня отекли колени.

Баутце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал:

– Sie sind ein Simulant!⁹ – И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал: – Den Kerl sogleich einsperren!¹⁰

Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллерова, с коляской ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться...

А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на Малой Стране, перед памятником Радецкому, Швейк крикнул провожавшей его толпе:

– На Белград!

А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постаментов вслед ковылявшему на старых костылях bravому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке.

Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.

⁸ Это действительно необычный финансовый листок (нем.).

⁹ Вы симулянт! (нем.)

¹⁰ Немедленно арестовать этого типа (нем.).

Глава VIII

Швейк – симулянт

В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно – чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями.

Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды:

1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.

2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба – мед. Это называлось: «Лизнуть хины».

3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.

4. Клистир из мыльной воды и глицерина.

5. Обертывание в мокрую холодную простыню.

Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.

Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.

– Больше не выдержу, – сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.

– Завтра же еду в полк, – объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.

На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.

– Это уже третий на этой неделе, – заметил сосед справа.

– А ты чем болен? – спросили Швейка.

– У меня ревматизм, – ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, «симулирующий» туберкулез.

– С ревматизмом ты сюда лучше не лезь, – серьезно предупредил Швейка толстый господин. – С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. Четырнадцать дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой, а доктор возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он смалодушничал. «Не могу, говорит, больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь и слух». Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем: он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе.

– Да, долго держался, – заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых десять сантиметров. – Не чета тому, с параличом. Тому достаточно было только трех порошков хинина, одного клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло.

– Дольше всех держался тут искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали мы ему как могли, сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу, доводили его до судорог, до синевы – и все-таки пена у рта не выступала: нет да и только. Это было ужасно! И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко! Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт.

– Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать, – сказал толстый симулянт. – Вот, к примеру, падучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он этак раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, выкатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия, эпилепсия – первый сорт, самая что ни на есть настоящая. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине, и тут пришел конец его корчам и битью об пол. Головы даже не мог повернуть. Ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще три дня, и ему была назначена другая диета: утром кофе с булочкой, к обеду – суп, кнедлик с соусом, вечером – каша или суп, и нам, с голодными выкачанными желудками да на строгой диете, пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравшись, отдувается и рыгает. Этим он подвел трех других, с пороком сердца. Те тоже признались.

– Легче всего, – сказал один из симулянтов, – симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два есть двое учителей. Один без устали кричит днем и ночью: «Костер Джордано Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает: сначала три раза медленно «гав, гав, гав», потом пять раз быстро «гав-гав-гав-гав-гав», а потом опять медленно, – и так без передышки. Оба уже выдержали больше трех недель... Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрел себе за пятнадцать крон рак желудка.

– Я знаю одного трубочиста из Бржевнова, – заметил другой больной, – он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.

– Это все пустяки, – сказал третий. – В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь.

– Мне вывихнули ногу за пятерку, – раздался голос с постели у окна. – За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу.

– Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон, – заявил его сосед, высохший, как жердь. – Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал, – не найдете. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен.

– Лучше всего, – заметил кто-то около дверей, – впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло: ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна.

– Вот видите, – сказал Швейк. – Все это каждый должен претерпеть ради государя императора. И выкачивание желудка и клистиры. Когда несколько лет тому назад я отбывал воен-

ную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали «в козлы» и бросали в каталажку, чтобы он вылез. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны «в козлы», а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка. А наш полковник был такой осел, – царствие ему небесное! – заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «*Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh!*»¹¹ Социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую – по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я ни гугу, молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчаса. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет: «Идиот ты или не идиот?» – «Точно так, господин полковник, идиот». – «На двадцать один день под строгий арест за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов в козлы! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыну, выьем из башки газеты!» На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже «*Празжскую официальную газету*». В солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд, в каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того: писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник – зверь, и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчл из Глубокой был посажен на два года, – это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? – сказал полковник. – Ни хрена она вам не помогла! Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гугу! Молчит, ни звука. Полковник покраснел как вареный рак и вернул ее назад, чтобы повторила все сначала. Одиннадцатая опять шагает и... молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «*Ruht!*»¹² – командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился да как заорет: «*Abtreten!*»¹³ Сел на свою клячу и вон. Ждали мы ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю – ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты

¹¹ Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная! (нем.)

¹² Вольно! (нем.)

¹³ Разойдись! (нем.)

рады-радешеньки, да и не только солдаты: и унтеры и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю императору, что одиннадцатая рота взбунтовалась.

Приближался час послеобеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним – фельдшер с книгой.

– Мацуна!

– Здесь.

– Клистир и аспирин.

– Покорный!

– Здесь.

– Промывание желудка и хинин.

– Коваржик!

– Здесь.

– Клистир и аспирин.

– Котятко!

– Здесь.

– Промывание желудка и хинин.

И так всех подряд – механически, грубо и безжалостно.

– Швейк!

– Здесь.

Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего.

– Чем больны?

– Осмелюсь доложить, у меня ревматизм.

Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.

– Ах вот что, ревматизм... – сказал он Швейку. – Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключится такая штука – заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт! Я полагаю, это вас страшно огорчает?

– Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает.

– А-а, вот как, его это огорчает? Очень мило с вашей стороны, что вам пришлось в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает, бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?

– Осмелюсь доложить, болят.

– И всю ночь напролет не можете заснуть? Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт: строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пештянах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется. – И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: – Пишите: «Швейк, строгая диета, два раза в день промывание желудка и раз в день клистир». А там – увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистир, но, знаете, настоящий клистир, чтобы всех святых вспомнил и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился.

Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций:

– Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте,

они воображали, что будут валяться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты! И вы ошибетесь, сукины дети! Через двадцать лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали.

– Осмелюсь доложить, господин старший врач, – послышался тихий голос с койки у окна, – я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка.

– Ваша фамилия?

– Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клистир.

– Хорошо, клистир вам еще поставят на дорогу, – распорядился доктор Грюнштейн, – чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается.

Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказа просьбами или угрозами: дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски.

– Не щади меня, – подбадривал он палача, ставившего ему клистир. – Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистир – и никаких. Помни, на этих клистирах держится Австрия. Мы победим!

На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина, все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить.

Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как Швейк пил хинин, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток.

Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал:

– Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне на морском курорте.

– Ревматизм еще не прошел?

– Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит.

Швейк был подвергнут новым пыткам.

В это время вдова генерала от инфантерии, баронесса фон Боценгейм, прилагала неимоверные усилия для того, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя везти в военную комиссию в коляске для больных и кричал: «На Белград!» Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки.

Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла с собою свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчаны.

Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что «*der brave Soldat*»¹⁴ Швейк, о котором она справлялась, лежит в третьем бараке, койка номер семнадцать. Сопровождать ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита.

Швейк только что вернулся после обычного, ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженный толпой исхудавших и изголодавшихся симулян-

¹⁴ Бравый солдат (нем.).

тов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна.

Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.

– Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые, – заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара желудка. – Когда сало начнет трещать и брызгать, отожди их, посоли, поперчи, и тогда скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся.

– Полегче насчет гусиных шкварок, – сказал больной «раком желудка», – нет ничего лучше гусиных шкварок! Ну, куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала! Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают.

– По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок, – заметил сосед Швейка. – Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются, – домашние шкварки. Они ни коричневые, ни желтые, цвет у них какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят – значит, пережарены. Они должны таять на языке... но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку.

– А кто из вас ел шкварки из конского сала? – раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.

– По койкам! Сюда идет великая княгиня. Грязных ног из-под одеяла не высовывать!

Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия, тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнелям, к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «вдова генерала» и все, что связывалось с этим титулом: знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи.

– Вот Швейк, – произнес доктор с деланным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. – Переносит все очень терпеливо.

Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала:

– Ческий зольдат, кароший зольдат, калека зольдат, храбрый зольдат. Я очень любила ческий австриец. – При этом она гладила Швейка по его небритому лицу. – Я читала все в газете, я вам принесла кушать: «ам-ам»; курить, сосать... Ческий зольдат, brave зольдат!... Johann, kommen sie her!¹⁵

Камердинер, своими взъерошенными бакенбардами напоминавший Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев.

Баронесса между тем вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой: «Gott strafe England»¹⁶; на этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц-Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу – не могу, засмейся – не хочу»; потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в

¹⁵ Иоганн, подойдите! (нем.)

¹⁶ Боже, покарай Англию! (нем.)

прекрасном переплете – «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика»; редактор тонко разбирался в жизни старого Франца-Иосифа.

Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Gott strafe England» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Viribus unitis»¹⁷, сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло: «Für Gott, Kaiser und Vaterland!»¹⁸

Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение:

österreich, du edies Haus,
steck deine Fahne aus,
laß sie im Winde wehen,
österreich muss ewig stehen!

На другой стороне был помещен чешский перевод:

О Австро-Венгрия! Могучая держава!
Пусть развевается твой благородный флаг!
Пусть развевается он величаво,
Неколебима Австрия в веках!

Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боценгейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли... слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк, он сложил руки, как на молитве, и заговорил:

– «Отче наш. Иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое...» Пардон, мадам, наврал! Я хотел сказать: «Господи боже, отец небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради твоей вкусим. Аминь».

После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна.

– Ах, как ему вкусно, зольдатику! – восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. – Он уже здоров и может поехать на поле битвы. Отшень, отшень рада, что все это ей на пользу.

Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behüt euch Gott»¹⁹ и покинула палату, сопровождаемая всей свитой.

Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой. Возвратясь, доктор нашел только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьем попали в гнездо коршунов и их кости несколько месяцев палило солнце.

¹⁷ Объединенными силами (лат.).

¹⁸ За Бога, императора и Отечество! (нем.)

¹⁹ Храни вас Бог (нем.).

Исчезли и военный ликер и три бутылки вина. Исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту.

Почувствовав, что гроза миновала, доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты неисправимые симулянты.

– Солдаты, – сказал он, – если бы у вас голова была на плечах, то вы бы до всего этого не дотронулись, а подумали: «Если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны». А теперь вы как нельзя лучше доказали, что ни в грош не ставите мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клистиры, стараюсь держать на полной диете, а вы так перегружаете желудок! Хотите нажить себе катар желудка, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь! Прежде чем ваши желудки успеют это переварить, я прочищу их так основательно, что вы будете помнить об этом до самой смерти и детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам все своевременно выкачали. Ну-ка, марш за мной! Не думайте, что я такой же осел, как вы. Я немножко поумней, чем вы все, вместе взятые. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в пять минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать... Шагом марш!

Когда дошла очередь до Швейка, доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшний загадочный визит, спросил:

– Вы знакомы с баронессой?

– Я ее незаконнорожденный сын, – спокойно ответил Швейк. – Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла.

Доктор Грюнштейн сказал лаконично:

– Поставьте Швейку добавочный клистир.

Мрачно было вечером на койках. Всего несколько часов тому назад в желудках у всех были разные хорошие, вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба.

Номер двадцать один у окна робко произнес:

– Хотите верьте, ребята, хотите нет, а жареных цыплят я люблю больше, чем печеных.

Кто-то проворчал:

– Сделайте ему темную!

Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места.

Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, слышны были только два слова: «Покажи язык!» Швейк высунул язык как только мог далеко; его лицо от натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза.

– Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается.

Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык.

Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк – «ein blöder Kerl»²⁰, в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой.

– Черт побери! – закричал на Швейка председатель комиссии. – Мы вас выведем на чистую воду!

Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка.

Старший штабной врач вплотную подступил к нему.

²⁰ Идиот (нем.)

– Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, думаете сейчас?

– Осмелюсь доложить, не думаю ни о чем.

– Himmeldonnerwetter!²¹ – заорал один из членов комиссии, бряцая саблей. – Он таки вообще ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?

– Осмелюсь доложить, потому, что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в Девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил: «Солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят...»

– Молчать! – злобно прервал Швейка председатель комиссии.

– У нас уже имеются о вас сведения. Der Keri meint: man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot...²² Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! Понимаете?

– Так точно, понимаю.

– Сказано вам молчать? Слышали?

– Так точно, слышал, «молчать».

– Himmelhergott! Ну так и молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеее болтать.

– Так точно, знаю, что не смею болтать.

Господа военные переглянулись и вызвали фельдфебеля.

– Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию, – указывая на Швейка, приказал старший штабной врач, – и ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость. Парень здоров как бык, симулирует да к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба – шутка, комедия... В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба – не балаган.

Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос:

Я-то вздумал в самом деле
Баловать с войной, —
Дескать, через две недели
Попаду домой.

В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо-де расстреливать, наверху, в больничных палатах, комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один – у которого нога была оторвана гранатой, а другой – с настоящей костоедой. Только эти двое не слышали слова «tauglich». Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконична. Все скоты, дерьмо, и только в том случае, если будут храбро сражаться за государя императора, снова станут равноправными членами общества. Тогда после войны им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симулировали. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля.

Молодой военный врач, чистая и пока еще не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слова. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью. Говорил он по-немецки.

²¹ Черт побери! (нем.)

²² Этот молодчик думает, что ему поверят, будто он действительно идиот... (нем.)

Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покидает лагерь и вернется в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убежден, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду: и на войне и в частной жизни; что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Радецкого и принца Евгения Савойского, что кровью своей они польют необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни, под простреленными знаменами своих полков, они ринутся вперед к новой славе, к новым победам...

В коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку:

– Послушайте, коллега, смею вас уверить, что старались вы зря. Ни Радецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не сделали бы из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, их ничем не проймешь. Это – шайка!

Глава IX

Швейк в гарнизонной тюрьме

Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя математики, который должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, «стрельнул» часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Перспектива участвовать в войне ему не улыбалась. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики он считал глупым.

«Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», – сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму.

В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты. Люди, считавшие военную службу источником личных доходов: различные бухгалтеры интендантства, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалованием, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели солдаты за преступления чисто воинского характера, как-то: нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых восемьдесят процентов были совершенно невинны; девяносто девять процентов этих невинных были осуждены.

Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков.

В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних парах и в походе делили кусок хлеба.

Для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция: господа Клима, Славичек и К°. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденций между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома; жандармы приводили сюда старых неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по двенадцати лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царил у них дома.

Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотольский плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотольском плацу раздавалась отрывистая команда: «An! Feuer!»²³ По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за «бунт», поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем.

А в гарнизонной тюрьме троица – штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингардт и фельдфебель Ржепа, по прозвищу «Палач», – оправдывала свое назначение. Сколько людей они до смерти избили в одиночках! Возможно, капитан Лингардт и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж.

²³ Пли! (нем.)

Ржепа стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике.

Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные.

* * *

Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немого укора.

– Раз ты сюда попал, значит, за тобой водятся грешки, брат, а? Мы тебе, паренек, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки – это, брат, тебе не дамские ручки.

И чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнес:

– Понюхай-ка, подлец, чем пахнет!

Швейк понюхал.

– Не хотел бы я получить по носу таким кулаком. Пахнет могилой, – заметил он.

Спокойная, рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю.

– А ну-ка ты! – крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот. – Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Сигареты можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет? Взаправду нет? Только не врать! Вранье наказывается.

– Куда его денем? – спросил фельдфебель Ржепа.

– Сунем в шестнадцатую, – решил смотритель, – к голоштанникам. Не видите разве, что написал на препроводительной капитан Лингардт: «Streng behüten, beobachten»²⁴.

– Да, брат, – обратился он торжественно к Швейку, – со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку, а там переломает ему ребра, – пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником! Помните, Ржепа?

– Ну и задал он нам работы, господин смотритель! – произнес фельдфебель Ржепа, с наслаждением вспоминая былое. – Вот был здоровяк! Топтал я его больше пяти минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще потом дней десять жил. Живучий был, сукин сын!

– Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придет в голову взбунтоваться или удрать, – закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. – Это все равно что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция! К примеру, придет инспекция и спросит: «Есть жалобы?» Так ты, сукин сын, должен стать во фронт, взять под козырек и отрапортовать: «Никак нет, всем доволен». Ну, как ты это скажешь? Повтори-ка, мерзавец!

– Никак нет, всем доволен, – повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность.

– Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую, – сказал он мягко, не добавив, против обыкновения, ни «сволочь», ни «сукин сын», ни «мерзавец».

²⁴ Стеречь строго, наблюдать (нем.).

В шестнадцатой Швейк застал двадцать мужчин в одних подштанниках. Тут сидели те, у кого в бумагах была пометка «Streng behüten, beobachten». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они, чего доброго, не удрали.

Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было решеток, то с первого взгляда могло бы показаться, что вы попали в предбанник.

Швейка принял староста, давно не бритый детина в расстегнутой рубахе. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал:

– Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь. Мы все там будем стоять в одних подштанниках. Вот будет потеха.

Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня, – излюбленное место развлечения арестантов. Не оттого вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к богу или приобщало их к добродетели. О такой глупости не могло быть и речи. Просто богослужение и проповедь спасали от тюремной скуки. Дело заключалось вовсе не в том, стал ты ближе к богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге – на лестнице или во дворе – брошенный окурок сигареты или сигары. Маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли, на земле, совсем оттеснил бога в сторону. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над богом и над спасением души.

Да и, кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдкурат Отто Кац в общем был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии божьем, чтобы поддержать «падших духом» и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно распевал у алтаря свое «*Ite, missa est*»²⁵. Богослужение он вел весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал, – словом, такое, чего до сих пор никто не видывал.

Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнется и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключенных, что тот умышленно подставил ему ножку, а потом тут же, перед самой дарохранительницей, вкатит этому министранту одиночку и «шпангле». Наказанный очень доволен: все это входит в программу и делает еще забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо ее играет.

Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара.

У фельдкурата Отто Каца прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и был призван в свое время на военную службу как вольноопределяющийся. Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и в векселях, что за один год привел фирму «Кац и К°» к полному банкротству; крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину.

Таким образом, молодой Отто Кац, бескорыстно поделив фирму «Кац и К°» между Северной и Южной Америкой, очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает, где приклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу.

²⁵ Изыдите, служба окончена (лат.).

Однако вольноопределяющийся Отто Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился. Обратился к Христу, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. Обратился доверчиво, рассматривая этот шаг как коммерческую сделку между собой и сыном божьим.

Его торжественно крестили в Эмаузском монастыре. Сам патер Альбан совершал обряд крещения. Это было великолепное зрелище. Присутствовали при сем набожный майор из того же полка, где служил Отто Кац, старая дева из института благородных девиц на Градчанах и мордастый представитель консистории, который был у него за крестного.

Экзамен на офицера сошел благополучно, и новообращенный христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдет хорошо, и он метил уже в военную академию, но в один прекрасный день напился, пошел в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Градчанах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он напился вдребезги в одном весьма порядочном доме с женской прислугой на Вейвоводовой улице и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошел в свой полк искать протекции и, когда его назначили фельдкуратором, купил себе лошадь, гарцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка.

На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в «железку», и ходили не лишние основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удавалось уличить фельдкуратора в том, что в широком рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали «святым отцом». К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженный в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными.

Проповеди фельдкуратора Отто Каца, напротив, радовали всех.

Шестнадцатую камеру водили в часовню в одних подштанниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки, – это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых подштанниках поставили у самого подножия кафедры проповедника. Некоторые из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как, за неимением карманов, им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом двадцати пар подштанников.

На кафедру, звеня шпорами, взобрался фельдкуратор.

– Nabacht!²⁶ – скомандовал он. – На молитву! Повторять все за мной! Эй ты там, сзади, не сморкайся, подлец, в кулак, ты находишься в храме божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось уже забыли, обормоты, «Отче наш»? Ну-ка попробуем... Так и знал, что дело не пойдет. Какой уж там «Отче наш»! Вам бы только слопать две порции мяса с бобами, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о Господе Боге. Что, не правду я говорю?

Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштанниках, которые, как и остальные, всю развлекались. В задних рядах играли в «мясо».

– Ничего, интересно, – шепнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три кроны отрубил своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы.

²⁶ Смирно! (нем.)

– То ли еще будет! – ответил тот. – Он сегодня опять здорово налакался, значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха.

Действительно, фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз.

– Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь! – закричал он сверху. – Или хотите, я научу вас новой песенке? Подтягивайте за мной.

Есть ли в мире кто милей
Моей милки дорогой?
Не один хожу я к ней —
Прут к ней тысячи гурьбой!
К моей милке на поклон
Люди прут со всех сторон.
Прут и справа, прут и слева,
Звать ее Мария-дева.

– Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, – продолжал фельдкурат. – Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места, негодяи, ибо Бог есть бытие... которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете! Ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха...

– Во-во, начинается. Здорово надрался! – радостно зашептал Швейку сосед.

– ... Тернистый путь греха – это, болваны вы такие, путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, предпочитаете валяться в одиночках, вместо того чтобы вернуться к отцу нашему, обратите взоры ваши к небесам и победите. Мир снизойдет в ваши души, хулиганы... Я просил бы там, сзади, не фыркать! Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики... Так где, бишь, я остановился? Ja, über den Seelenfrieden, sehr gut!²⁷ Помните, скоты, что вы люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно и что только один Бог вечен. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren?²⁸ А если вы воображаете, что я буду денно и нощно за вас молиться, чтобы милосердный Бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своею милостью уничтожил беззакония ваши, принял бы вас в лоно свое навеки и во веки веков не оставлял своею милостью вас, подлецов, то вы жестоко ошибаетесь! Я вас в обитель рая вводить не намерен...

Фельдкурат икнул.

– Не намерен... – упрямо повторил он. – Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Бесконечное милосердие всевышнего не поведет вас по жизненному пути и не коснется вас дыханием божественной любви, ибо Господу Богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами... Слышите, что я говорю? Эй вы там, в подштанниках!

Двадцать подштанников посмотрели вверх и в один голос сказали:

– Точно так, слышим.

– Мало только слышать, – продолжал свою проповедь фельдкурат. – В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдет к вам сострадание всевышнего, ибо и милосердие божье имеет свои пределы. А ты, осел, там, сзади, не смей ржать, не то сгною тебя в карцере; и вы, внизу, не думайте, что вы в кабаке! Милосердие божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел

²⁷ Да, насчет мира душевного, очень хорошо! (нем.)

²⁸ Очень хорошо, не правда ли, господа? (нем.)

вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь – одна потеха, словно здесь театр или кинематограф. Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, по одиночкам – вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, вы бы все равно не исправились и не обратили души ваши к Господу. И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете: «Добра он нам желал...»

Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк.

Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование.

– Пусть каждый из вас берет пример с этого человека, – продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. – Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе! Не плачь! Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, легко не удастся. Сейчас вот плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще придется поразмыслить о бесконечном милосердии божьем, долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет наконец на тот путь истинный, по коему надлежит идти... Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины, а что делают все остальные? Ни черта. Вот, смотрите: один что-то жует, словно родители у него были жвачные животные, а другой в храме божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком! Ведь вы же солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские, и вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, поисками Бога, а вшей будете искать дома! На этом, хулиганье, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как прошлый раз, когда в задних рядах казенное белье обменивали на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров.

Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к Швейку, вытащил его из кучи двадцати подштанников и отвел в ризницу.

Фельдкурат сидел, развалился, на столе и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, фельдкурат сказал:

– Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.

Он соскочил со стола и, тряхнув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салеского:

– Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!

Франциск Салеский вопросительно глядел на Швейка. А с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. В зад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошел до жизни такой и что вы, господа, со мною делаете?»

– Так точно, господин фельдкурат, – сказал Швейк серьезно, все ставя на карту, – исповедуюсь всемогущему Богу и вам, достойный отец, я должен признаться, что ревел, правда, только так, для смеху. Я видел, что вам недостает только кающегося грешника, к которому вы тщетно зывали. Ей-богу, я хотел доставить вам радость, чтобы вы не разуверились в людях. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе.

Фельдкурат пылливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивленного мученика на противоположной стене.

– Вы мне начинаете нравиться, – сказал фельдкурат, снова садясь на стол. – Какого полка? – спросил он, икая.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к Девяносто первому полку и вообще не знаю, что со мною происходит.

– А за что вы здесь сидите? – спросил фельдкурат, не переставая икать.

Из часовни доносились звуки фисгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалуюсь. Мне просто не везет. Я стараюсь как получше, а выходит так, что хуже не придумаешь, вроде как у того мученика на иконе.

Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал:

– Ей-богу, вы мне нравитесь! Придется порасспросить о вас у следователя. Ну а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы. *Kehrt euch! Abtreten!*²⁹

Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко:

– В стельку пьян.

За следующим номером программы – святой мессой – публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба против двух оплеух – и выиграл.

Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью рьяных католиков. Скорее оно напоминало то чувство, какое рождается в театре, когда мы не знаем содержания пьесы, а действие все больше запутывается и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, надетой наизнанку: все с воодушевлением следили за спектаклем, разыгрываемым у алтаря, испытывая при этом эстетическое наслаждение.

Рыжий министр, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в Двадцать восьмом полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом и суфлером, что не мешало святому отцу с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал служить ее к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рев, словно в свином хлеву.

– Ну и нализался сегодня, нечего сказать, – с огромным удовлетворением отметили перед алтарем. – Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился.

Пожалуй, уже в третий раз у алтаря звучало пение фельдкурата «*Ite, missa est*», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там еще хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям:

– Ну а теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем. Хулиганы! Перед лицом Всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами... даже при мне, хотя я здесь вместо девы Марии, Иисуса Христа и Бога Отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует. Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад земной! Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вы у меня не отвертитесь. *Abtreten!*

²⁹ Кругом! Марш! (нем.)

Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старый избитый обычай посещения узников, прошел в ризницу, переоделся, велел себе налить церковного вина из громадной оплетенной бутылки, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о Швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию к следователю Бернису.

Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасаец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчанах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову; он судил дезертиров за воровство, а воров – за дезертирство; устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца; он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывал оскорбления его величества и эти им самим сочиненные выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг.

– Servus!³⁰ – сказал фельдкурат, подавая ему руку. – Как дела?

– Неважно, – ответил военный следователь Бернис. – Перепутали мне материалы, теперь в них сам черт не разберется. Вчера я послал начальству уже отработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне все вернули назад, дескать, потому, что дело идет не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу!

Военный следователь плюнул.

– Играешь еще в карты? – спросил фельдкурат.

– Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в макао, так я все ему просадил. Зато у меня на примете есть одна девочка... А ты что поделяваешь, святой отец?

– Мне нужен денщик, – сказал фельдкурат. – Последний мой денщик был старик бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы Бог сохранил его от беды и напасти, ну, я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди, смеху ради, разревелся. Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили и нельзя ли мне его как-нибудь вытащить оттуда?

Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти.

– Наверно, у капитана Лингардта, – сказал он после долгих бесплодных поисков. – Черт их знает, куда у меня пропадают все дела! Видно, я их послал Лингардту. Позвоню-ка ему... Алло! У телефона следователь поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего Швейка? Должны быть у меня?.. Странно... Сам от вас принимал? Действительно странно. Сидит в шестнадцатой... Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. Но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются... Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло!

³⁰ Ваш слуга! (От *лат.* servus – раб.) Приветствие, принятое в Австрии. – *Ред.*

Огорченный Бернис присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингардтом давно уже существовала неприязнь, причем ни один не хотел уступать. Если бумага, относившаяся к делам Лингардта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингардт то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам³¹.

(Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним: «Приведено в исполнение» и дата.)

– Итак, пропал у меня Швейк, – сказал Бернис. – Велю вызвать его сюда и, если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам устроишь в полку.

После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе Швейка. Но он заставил его ждать за дверьми, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту № 7267, касающийся рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией № 1 за подписью капитана Лингардта.

Швейк между тем разглядывал канцелярию военного следователя.

Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь оставляла чересчур благоприятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные снимки спаленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись к земле под тяжестью повешенных. Особенно хорош был снимок из Сербии, где была сфотографирована повешенная семья: маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висит несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня.

– Ну, так как же с вами быть, Швейк? – спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. – Что вы там натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Этак не годится! Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный, K. und K. Militärgericht³². Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание.

У следователя Берниса был «свой собственный метод» на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного, поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю.

Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был подручным у каптенармуса), Бернис обвинил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире агитировал среди солдат за создание самостоятельного государства, в составе Чехии и Словакии, во главе с королем-славянином.

³¹ Тридцать процентов людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. (Примеч. автора.)

³² Императорско-королевский военный суд (нем.).

– У нас на руках документы, – сказал он несчастному цыгану. – Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.

Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.

– Вы ни в чем не желаете признаваться? – спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. – Вы не хотите рассказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мнесто по крайней мере вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и смягчит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.

– Осмелюсь доложить, – прозвучал наконец добродушный голос Швейка, – я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш.

– Что вы имеете в виду?

– Осмелюсь доложить, я могу объяснить это очень просто... На нашей улице живет угольщик, у него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрел раз этот мальчик с Виноград в Либень, уселся на тротуаре, – тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребенка! Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то – умеет он говорить – все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш.

Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то черт знает чем бы кончилось это дело.

Наконец следователь остановился у своего стола.

– Послушайте-ка, – сказал он Швейку, равнодушно глазевшему по сторонам, – если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете помнить... Уведите его!

Пока Швейка вели назад, в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика.

– Впредь до дальнейших указаний Швейк передается в распоряжение господина фельдкурата Каца, – коротко приказал он. – Заготовить пропуск. Отвести Швейка с двумя конвойными к господину фельдкурату.

– Прикажете отвести его в кандалах, господин поручик?

Следователь ударил кулаком по столу:

– Осел! Я же ясно сказал: заготовить пропуск!

И все, что накопилось за день в душе следователя – капитан Лингардт, Швейк, – все это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами:

– Поняли наконец, что вы коронованный осел!

Так полагается величать только королей и императоров, но даже простой смотритель, особа отнюдь не коронованная, все же не остался доволен подобным обхождением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается Швейка, то смотритель решил оставить его хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, дабы предоставить ему возможность вкусить всех ее прелестей.

Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там.

Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию смотрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра.

Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щелканье вшей, попавших под ногти арестантов.

Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немых человеческих тел и с вонью параша, которая после каждого употребления развезала свои пучины и пускала в шестнадцатую новую волну смрада.

Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов; газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами.

Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался «глазок» в двери и «архангел» заглядывал внутрь.

На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал:

– Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали – политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего только он не принес из дому, чего только ему не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Приволок он с собой два окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак... Ну, словом, все, о чем только может человек мечтать. Хранил он свое добро в двух мешках. Да, и вбил он себе в башку, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается, поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет: дескать, ему тут две недели сидеть и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек, ничего, дескать, против этого не имеет, можем разделить все поровну или же есть по очереди... Тонкого, скажу вам, понятия был человек: на парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж был избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий... Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом – жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать: дескать, нам курить не разрешается и если «архангел» увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, три дня мы терпели. На четвертый, ночью, настал час расплаты. Парень утром проснулся... Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером перед жратвой всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он – в крик: меня, мол, обокрали, оставили только клозетную бумагу, но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему и говорит: «Знаете что, накройте с головой одеялом и считайте до десяти, а потом загляните в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: «Раз, два, три...» А либенский говорит: «Не так быстро, считайте медленно!» Тот снова давай считать, медленно, с расстановкой: «Раз... два... три...» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки, да как начал кричать: «Иисус Мария! Люди добрые! Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху. А либенский ему снова: «Попробуйте, говорит, еще раз!» Так, верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидел, что в мешках опять нет ничего, кроме клозетной бумаги, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради бога, отоприте!» Само собой, моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался: дескать, вчера жрал до самой поздней ночи и

все съел один. А он только плачет и твердит свое: «Ведь крошки-то должны остаться». Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на таковских напали! Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во второй этаж. Ничего у нас не обнаружили, хотя этот дурак и ныл свое: «Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться!» Целый день он ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На другой день он даже к обеду не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только с той поры он уже больше не молился, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то чудом разжился махоркой, и тут впервые он с нами заговорил, – дескать, дайте и мне затянуться. Черта с два мы ему дали!

– А я боялся, что вы дадите, – заметил Швейк. – Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.

– А темную вы ему не делали? – спросил кто-то.

– Нет, забыли.

В шестнадцатой открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердю темную или нет. Большинство высказалось «за».

Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.

В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.

– Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, – поучал Швейка один из арестантов. – А на втором этаже стоит еще одна. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь отыщется.

Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.

Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче повели на Мотольский плац на расстрел.

Глава X

Швейк в денщиках у фельдкурата

I

Швейковская одиссея снова разворачивается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату.

Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый; верзила прихрамывал на правую ногу, маленький – на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были вчистую освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой, изредка поглядывая на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В его штаны влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи, – а штаны доходили до самой шеи, – поневоле привлекали внимание зевак. Громадная грязная и засаленная гимнастерка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, как у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.

На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, теплым взглядом своих добрых глаз.

Так подвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереями.

– Откуда будешь?

– Из Праги.

– Не удерешь от нас?

В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки по большей части бывают добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила возразил маленькому:

– Кабы мог, удрал бы!

– А на кой ему удирать? – отозвался маленький толстяк. – Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот пакет у меня.

– А что там, в этом пакете? – спросил верзила.

– Не знаю.

– Видишь, не знаешь, а говоришь...

Карлов мост они миновали в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком:

– Ты не знаешь, зачем мы ведем тебя к фельдкурату?

– На исповедь, – небрежно ответил Швейк. – Завтра меня повесят. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.

– А за что тебя будут... того? – осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнаванием посмотрел на Швейка.

Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.

– Не знаю, – ответил Швейк, добродушно улыбаясь. – Я ничего не знаю. Видно, судьба.

– Стало быть, ты родился под несчастливой звездой, – тоном знатока с сочувствием заметил маленький. – У нас в селе Ясенной, около Йозефова, еще во время прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефе повесили.

– Я думаю, – скептически заметил долговязый, – что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.

– В мирное время, – заметил Швейк, – может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.

– Послушай, а ты не политический? – спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.

– Политический, даже очень, – улыбнулся Швейк.

– Может, ты национальный социалист?

Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.

– Нам-то что, – сказал он. – Смотри-ка, кругом пропасть народу, и все на нас глазают. Если бы мы могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это... не так бросалось в глаза. Ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? – обратился он к верзиле.

Тот тихо отозвался:

– Штыки-то мы могли бы снять. Все-таки это наш человек. – Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.

Они вместе высмотрели подходящее место за воротами, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку пойти рядом.

– Небось курить хочется? Да? – спросил он. – Кто знает...

Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят», – но не закончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.

Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих в районе Краловеградца, о женах, о детях, о клочке земли, о единственной корове...

– Пить хочется, – заметил Швейк.

Долговязый и маленький переглянулись.

– По одной кружке и мы бы пропустили, – сказал маленький, почувствовав, что верзила тоже согласен, – но там, где бы на нас не очень глазели.

– Идемте в «Куклик», – предложил Швейк, – ружья вы оставите там на кухне. Хозяин в «Куклике» – Серабона, сокол, его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в «репрезентяк».

Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:

– Ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.

По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Пан-краще, на холме, есть чудесная аллея».

Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробормом, и пела сиплым голосом:

Обзавелся я девчонкой,
А гуляет с ней другой.

За одним столом спал пьяный сардинчик. Время от времени он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал: «Не выйдет!» – и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и хором кричали железнодорожному кондуктору:

– Молодой человек, угостите нас вермутом!

Неподалеку от музыкантов двое спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто вчера она с одним солдатом пошла спать в гостиницу «Вальшум».

У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал о том, как его ранили в Сербии. Одна рука у него была на перевязи, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он то и дело повторял, что больше уже не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, без устали его угощал.

– Да выпейте уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда еще? Велеть, чтоб вам сыграли? Попросить «Сиротку»?

Это была любимая песня лысого старика. И действительно, минуту спустя скрипка с гармошкой завывали «Сиротку». У старика выступили слезы на глазах, и он затянул дребезжащим голосом:

Чуть понятливее стала,
Все о маме вопрошала,
Все о маме вопрошала.

Из-за другого стола послышалось:

– Хватит! Ну их к черту! Катитесь вы с вашей «Сироткой»!

И, прибегнув к последнему средству убеждения, вражеский стол грянул:

Разлука, ах, разлука —
Для сердца злая мука.

– Франта, – позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца. – Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты. Брось забавлять этих чудаков!

Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк, – он часто сживал тут еще до войны, – пустился в воспоминания о том, как здесь, бывало, внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку. Раз они даже запели ее хором:

Как от Драшнера от пана
Паника поднялась.
Лишь одна Марженка спьяна
Его не боялась...

В этот момент вошел Драшнер со своей свитой, грозный и неумолимый. Последовавшая затем сцена напоминала охоту на куропаток: полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче и, на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверение личности, спросил: «А у вас есть на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил об одном поэте, который сживал вон там под зеркалом и среди шума и гама, под звуки гармошки, сочинял стихи и тут же читал их проституткам.

У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них все было внове. Им тут начинало нравиться. Маленький толстяк первым почувствовал себя здесь как рыба в воде. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту колебался, но, отбросив свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность и последние остатки рассудительности.

– Пойду станцюю, – сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары пляшут «шляпака».

Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него уже сидела какая-то барышня и несла похабшину. Глаза у него так и блестели.

Швейк пил.

Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонов. В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас – хоть потоп».

После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать за пять крон флегмону и заражение крови. Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или в руку керосин³³. После этого они пролежат не менее двух месяцев, а если будут смачивать рану слюнями, то и все полгода, и их вынуждены будут совсем освободить от военной службы.

Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу керосин.

Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык уже начал заплетаться, упрашивал Швейка остаться еще. Верзила тоже придерживался того мнения, что фельдкурат может подождать.

Однако Швейку в «Куклике» уже надоело, и он пригрозил, что пойдет один.

Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал.

Остановились они за «Флоренцией», в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли еще поразвлечься.

Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались, солдат беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им попадался офицер или унтер, Швейк должен был предупреждать своих стражей. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось наконец дотащить их до Краловской площади, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они вели его, а не он их.

Во втором этаже, где на дверях висела визитная карточка «*Отто Кац – фельдкурат*», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.

– Wir... melden... gehorsam... Herr... Feldkurat, – с трудом выговорил верзила, отдавая честь солдату, – ein... Paket... und ein Mann gebracht³⁴.

– Влезайте, – сказал солдат. – Где это вы так нализались? Господин фельдкурат тоже... – И солдат сплюнул.

Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока наконец не открылась дверь и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.

– Так вы уже здесь, – сказал он, обращаясь к Швейку. – А, это вас привели. Э... нет ли у вас спичек?

– Никак нет, господин фельдкурат, – ответил Швейк.

– А... а почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является... является... Ну?

³³ Это испытанное средство попасть в госпиталь. Однако часто выдает запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как быстрее испаряется. Позднее солдаты впрыскивали себе смесь эфира с бензином; еще позднее достигли они и других усовершенствований.

³⁴ Честь имеем... доложить... господин фельдкурат... доставить пакет с человеком (нем.).

– Осмелюсь доложить, является без спичек, – подсказал Швейк.

– Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь, во-вторых. У вас ноги не воняют, Швейк?

– Никак нет, не воняют.

– Так. Это во-вторых. А теперь, в-третьих. Водку пьете?

– Никак нет, водки не пью, только ром.

– Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика Фельдгубера, это его денщик. Он ни черта не пьет, такой рр... тр... трезвенник, а потому отправится с маршевой ротой. По... потому что такой человек мне не нужен. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит как бык.

– Ты т... т... резвенник! – обратился он к солдату. – Не... не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься – получишь в морду.

Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то что изо всех сил старались стоять ровно, качались из стороны в сторону, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.

– Вы п... пьяны!.. – сказал фельдкурат. – Вы напились при исполнении служебных обязанностей! За это я поса... садить велю вас! Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и сторожите, пока не придет патруль. Я сейчас п... позвоню в казармы.

Итак, слова Наполеона: «На войне ситуация меняется каждое мгновение», – нашли здесь свое полное подтверждение – утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он не сбежал, а под вечер оказалось, что Швейк привел их к месту назначения и ему пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штыком, то поняли все.

– Я бы чего-нибудь выпил, – вздохнул маленький оптимист.

Но верзилу опять одолел приступ скептицизма. Он заявил, что все это – низкое предательство, и громко принялся обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.

Швейк молча расхаживал около двери.

– Ослы мы были! – вопил верзила.

Выслушав все обвинения, Швейк сказал:

– Теперь вы по крайней мере видите, что военная служба – не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Влип я в это дело случайно, как и вы, но мне, как говорится, «улыбнулась фортуна».

– Я бы чего-нибудь выпил! – в отчаянии повторял оптимист.

Верзила встал и, пошатываясь, подошел к двери.

– Пусти нас домой, – сказал он Швейку, – брось дурачиться, голубчик!

– Отойди! – ответил Швейк. – Я должен вас караулить. Отныне мы не знакомы.

В дверях появился фельдкурат.

– Я... я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой да по... помните у меня, что на службе пьянствовать не... нельзя! Марш отсюда!

К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.

II

Уже третий день Швейк служил в денщиках у фельдкурата Отто Каца и за это время видел его только один раз. На третий день пришел денщик поручика Гельмиха и сказал Швейку, чтобы тот шел к ним за фельдкуратором.

По дороге денщик рассказал Швейку, что фельдкурат поссорился с поручиком Гельмихом и разбил пианино. Фельдкурат в доску пьян и не хочет идти домой, а поручик Гельмих, тоже пьяный, все-таки выкинул его на лестницу, и тот сидит у двери на полу и дремлет.

Прибыв на место, Швейк как следует встряхнул фельдкурата. Тот замычал и открыл глаза. Швейк взял под козырек и отпрапортовал:

- Честь имею явиться, господин фельдкурат!
- А что... вам... здесь надо?
- Осмелюсь доложить, я пришел за вами, господин фельдкурат. Я должен был прийти.
- Должны были прийти за мной? А куда мы пойдем?
- Домой, господин фельдкурат.
- А зачем мне идти домой? Разве я не дома?
- Никак нет, господин фельдкурат, вы – на лестнице в чужом доме.
- А как... как я... сюда попал?
- Осмелюсь доложить, вы были в гостях.
- В... гостях... в го... гостях я не... не был. Вы... о... ошибаетесь...

Швейк приподнял фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону, наваливался на Швейка и все время повторял, глупо улыбаясь:

- Я у вас сейчас упаду...

Наконец Швейку удалось прислонить его к стене, но в этом новом положении фельдкурат опять задремал.

Швейк разбудил его.

– Что вам угодно? – спросил фельдкурат, делая тщетную попытку съехать по стене и сесть на пол.

- Кто вы такой?

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – ответил Швейк, снова прислоняя фельдкурата к стене, – я ваш денщик.

– Нет у меня никаких денщиков, – с трудом выговаривал фельдкурат, пытаясь упасть на Швейка, – и я не фельдкурат. Я свинья!... – прибавил он с пьяной откровенностью. – Пустите меня, сударь, я с вами не знаком!

Короткая борьба окончилась решительной победой Швейка, который воспользовался этим для того, чтобы стащить фельдкурата с лестницы в парадное, где тот, однако, оказал серьезное сопротивление, не желая, чтобы его вытащили на улицу.

– Я с вами, сударь, не знаком, – уверял он, сопротивляясь Швейку. – Знаете Отто Каца? Это – я.

– Я у архиепископа был! – орал он немного погодя за дверью. – Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне. Понимаете?!

Швейк отбросил «осмелюсь доложить» и заговорил с фельдкуратом в интимном тоне.

– Отпусти руку, говорят, – сказал он, – а не то дам раза! Идем домой – и баста! Не разговаривать!

Фельдкурат отпустил дверь и навалился на Швейка.

- Тогда пойдем куда-нибудь. Только к «Шугам» я не пойду, я там остался должен.

Швейк вытолкнул фельдкурата из парадного и поволок его по тротуару к дому.

- Это что за фигура? – полюбопытствовал один из прохожих.

– Это мой брат, – пояснил Швейк. – Получил отпуск и приехал меня навестить да на радостях выпил: не думал, что застанет меня в живых.

Услыхав последнюю фразу, фельдкурат промычал мотив из какой-то оперетки, перевирая его до невозможности. Потом выпрямился и обратился к прохожим:

– Кто из вас умер, пусть явится в течение трех дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплен святой водой... – и замолк, норовя упасть носом на тротуар.

Швейк, подхватив фельдкурата под мышки, поволок его дальше. Вытянув вперед голову и волоча ноги, как кошка с перешибленным хребтом, фельдкурат бормотал себе под нос:

– Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum³⁵.

У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а сам пошел договариваться с извозчиками. Один из них заявил, что знает этого пана очень хорошо, он уже один раз его возил и больше не повезет.

– Заблевал мне все, – пояснил извозчик, – да еще не заплатил за проезд. Я его больше двух часов возил, пока нашел, где он живет. Три раза я к нему ходил, а он только через неделю дал мне за все пять крон.

Наконец после долгих переговоров какой-то извозчик взялся отвезти.

Швейк вернулся за фельдкуратом. Тот спал. Кто-то снял у него с головы черный котелок (он обыкновенно ходил в штатском) и унес.

Швейк разбудил фельдкурата и с помощью извозчика погрузил его в закрытый экипаж. Там фельдкурат впал в полное отупение. Он принял Швейка за полковника Семьдесят пятого пехотного полка Юста и несколько раз повторил:

– Не сердись, дружище, что я тебе тыкаю. Я свинья!

С минуту казалось, что от тряски пролетки по мостовой к нему возвращается сознание. Он сел прямо и запел какой-то отрывок из неизвестной песенки. Вероятно, это была его собственная импровизация.

Помню золотое время,
Как все улыбались мне,
Проживали мы в то время
У Домажлиц в Мерклине.

Однако минуту спустя он потерял всякую способность соображать и, обращаясь к Швейку, спросил, прищурив один глаз:

– Как поживаете, мадам?.. Едете куда-нибудь на дачу? – после краткой паузы продолжал он.

В глазах у него двоилось, и он осведомился:

– Изволите иметь уже взрослого сына? – И указал пальцем на Швейка.

– Будешь ты сидеть или нет?! – прикрикнул на него Швейк, когда фельдкурат хотел встать на сиденье. – Я тебя приучу к порядку!

Фельдкурат затих и только молча смотрел вокруг своими маленькими поросычьими глазками, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит.

Потом, опять забыв обо всем на свете, он повернулся к Швейку и сказал тоскливым тоном:

– Пани, дайте мне первый класс, – и сделал попытку спустить брюки.

– Застегнись сейчас же, свинья! – заорал на него Швейк. – Тебя и так все извозчики знают. Один раз уже облевал все, а теперь еще и это хочешь. Не воображай, что опять не заплатишь, как в прошлый раз.

Фельдкурат меланхолически подпер голову рукой и стал напевать:

Меня уже никто не любит...

Но внезапно прервал пение и заметил:

– Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel! Ich kann singen, was ich will!³⁶

³⁵ Благословение Господне на вас, и со духом твоим. Благословение Господне на вас (лат.).

³⁶ Извините, дорогой товарищ, вы болван! Я могу петь, что хочу! (нем.)

Тут он, как видно, хотел просвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное «тпрру», что экипаж остановился.

Когда спустя некоторое время они, по распоряжению Швейка, снова тронулись в путь, фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук.

– Не закуривается, – сказал он, понапрасну исчерпав всю коробку спичек. – Вы мне дуете на спички.

Но внезапно он потерял нить размышлений и засмеялся.

– Вот смешно! Мы одни в трамвае. Не правда ли, коллега?

И он стал шарить по карманам.

– Я потерял билет! – закричал он. – Остановите вагон, билет должен найтись!

Потом покорно махнул рукой и крикнул:

– Трогай дальше!

И вдруг забормотал:

– В большинстве случаев... Да, все в порядке... Во всех случаях... Вы находитесь в заблуждении... На третьем этаже?... Это – отговорка... Разговор идет не обо мне, а о вас, милостивая государыня... Счет!.. Одна чашка черного кофе...

Засыпая, он начал спорить с каким-то воображаемым неприятелем, который лишил его права сидеть в ресторане у окна. Потом принял пролетку за поезд и, высовываясь наружу, орал на всю улицу по-чешски и по-немецки:

– Нимбурк, пересадка!

Швейк с силой притянул его к себе, и фельдкурат, забыв про поезд, принялся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его «кукареку» победно разносилось по улицам.

На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролетку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать:

– Жил в Будейовицах один барабанщик. Вот женился он и через год умер. – Он вдруг расхохотался. – Что, нехорош разве анекдотец?

Все это время Швейк обращался с фельдкуратом с беспощадной строгостью. При малейших попытках фельдкурата отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролетки или отломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заорав, что дальше не поедет, так как, вместо того чтобы ехать в Будейовицы, они едут в Подмокли. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил фельдкурата вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было:

– Не дрыхни, дохлятина!

На фельдкурата внезапно нашел припадок меланхолии, и он залился слезами, выпытывая у Швейка, была ли у него мать.

– Одинок я на этом свете, братцы, – голосил он, – заступитесь, приласкайте меня!

– Не срами ты меня, – вразумлял его Швейк, – перестань, а то каждый скажет, что ты нализался.

– Я ничего не пил, друг, – ответил фельдкурат. – Я совершенно трезв! – Он вдруг приподнялся и отдал честь. – Ich melde gehorsam, Herr Oberst, ich bin besoffen³⁷. Я свинья! – повторил он раз десять с пьяной откровенностью, полной отчаяния. И, обращаясь к Швейку, стал клянчить: – Вышвырните меня из автомобиля. Зачем вы меня с собой везете?

³⁷ Честь имею сообщить, господин полковник, я пьян (нем.).

Потом опустил на сиденье и забормотал:

– «В сиянье месяца златого...» Вы верите в бессмертие души, господин капитан? Может ли лошадь попасть на небо?

Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнес:

– Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. Не были ли вы в Вене? Я помню вас по семинарии.

С минуту он развлекался декламацией латинских стихов:

– Aurea prima satast, aetas, quae vindice nullo. Дальше у меня не получается, – сказал он. – Выкиньте меня вон. Почему вы не хотите меня выкинуть? Со мной ничего не случится. Я хочу упасть носом, – заявил он решительно. – Сударь! Дорогой друг, – продолжал он умоляющим тоном, – дайте мне подзатыльник!

– Один или несколько? – осведомился Швейк.

– Два.

– На!

Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь.

– Это отлично помогает пищеварению, – сказал он. – Теперь дайте мне по морде... Покорно благодарю! – воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание. – Я вполне доволен. Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку.

Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Он обнаружил стремление к мученичеству, требуя, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву.

– Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы. Хорошо бы штук десять, – восторженно произнес он.

Потом он завел разговор о скачках, но скоро перешел на балет, однако и тут недолго задержался.

– Чардаш танцуете? – спросил он Швейка. – Знаете «Танец медведя»? Этак вот...

Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье.

– Мне чего-то хочется, – кричал фельдкурат, – но я сам не знаю, чего. Вы не знаете ли, чего мне хочется?

И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе.

– Что мне до того, чего мне хочется! – сказал он вдруг серьезно. – И вам, сударь, до этого никакого дела нет! Я с вами не знаком. Как вы осмеливаетесь так пристально на меня смотреть?.. Умеете фехтовать?

Он перешел в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать свое физическое превосходство, фельдкурат осведомился:

– Сегодня у нас понедельник или пятница?

Он любопытствовал также, что теперь – декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы.

– Вы женаты? Любите горгонзолу? Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?

Потом фельдкурат пустился в откровенность: рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлыст и седло, что несколько лет тому назад у него был триппер и он лечил его марганцовкой.

– Я ни о чем другом не мог думать, да и некогда было, – продолжал он икая. – Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите – ик! Что делать! – ик! Уж вы простите меня!

– ...Термосом, – начал он, забыв, о чем говорил минуту назад, – называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка... Как по-вашему, коллега, которая из игр честнее: «железка» или «двадцать одно»?.. Ей-богу, мы с тобой где-то уже встречались! – воскликнул он, покушаясь обнять Швейка и облобызать его своими слюнявыми губами. – Мы ведь вместе ходили в школу... Ты славный парень! – говорил он, нежно глядя свою собственную ногу. – Как ты, однако, вырос за то время, что я тебя не видел! С тобой я забываю о всех пережитых страданиях.

Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться: «Богородица дево, радуйся», причем хохотал во все горло.

Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа.

– Мы еще не приехали! – кричал он. – Помогите! Меня похищают! Желаю ехать дальше!

Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.

При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика.

– Вы меня разорвете, господа!

Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете.

– Вы меня хотите надуть, – заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику, – мы шли пешком.

И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелек:

– Возьми все! Ich kann bezahlen!³⁸ Для меня лишний крейцер ничего не значит!

Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значат тридцать шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах.

– Ну, ударь! – посоветовал фельдкурат. – Думаешь, не выдержи? Пяток оплеух выдержи.

В жилете у фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка.

Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы. Чего только не приходило ему в голову: сыграть на рояле, пойти на урок танцев и, наконец, поджарить себе рыбки.

Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека – существо, равноценное свинье.

III

Войдя утром в комнату фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряженно размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил, да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – сказал Швейк, – вы ночью...

В немногих словах он разъяснил фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили.

³⁸ Я в состоянии заплатить! (нем.)

Проснувшись с чрезвычайно тяжелой головой, фельдкурат пребывал в угнетенном состоянии духа.

– Не могу вспомнить, – сказал он, – каким образом я попал с кровати на диван?

– А вы и не были на кровати. Как только мы приехали, вас уложили на диван – до постели дотащить не могли.

– А что я натворил? Не натворил ли я чего? Я же не был пьян!

– До положения риз, – отвечал Швейк, – вдребезги, господин фельдкурат, до зеленого змия. Я думаю, вам станет легче, если вы переоденетесь и умоетесь...

– У меня такое ощущение, будто меня избили, – жаловался фельдкурат, – и потом жажда. Я вчера не дрался?

– До этого не доходило, господин фельдкурат. А жажда – это из-за жажды вчерашней. От нее не так-то легко отделаться. Я знал одного столяра, так тот в первый раз напился под новый тысяча девятьсот десятый год, а первого января с утра его начала мучить жажда, и чувствовал он себя отвратительно, так что пришлось купить селедку и напиться снова. С тех пор он делает это каждый день вот уже четыре года подряд. И никто не может ему помочь, потому что по субботам он покупает себе селедок на целую неделю. Такая вот карусель, как говаривал наш старый фельдфебель в Девяносто первом полку.

Фельдкурат был подавлен, на него напала хандра. Тот, кто услышал бы его рассуждения в этот момент, ни на минуту не усомнился бы в том, что попал на лекцию доктора Александра Батека на тему «Объявим войну не на живот, а на смерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей» или что читает его книгу «Сто искр этики», – правда, с некоторыми изменениями.

– Я понимаю, – изливался фельдкурат, – если человек пьет благородные напитки, допустим, арак, мараскин или коньяк, а ведь я вчерапил можжевельовку. Удивляюсь, как я мог ее пить? Вкус отвратительный! Хоть бы это вишневка была. Выдумывают люди всякую мерзость и пьют, как воду. У этой можжевельовки ни вкуса, ни цвета, только горло дерет. Была бы хоть настоящая можжевельовая настойка, какую я однаждыпил в Моравии. А ведь вчерашнюю сделали на каком-то древесном спирту или деревянном масле... Посмотрите, что за отрыжка! Водка – яд, – решительно заявил он. – Водка должна быть натуральной, настоящей, а ни в коем случае не состряпанной евреями холодным способом на фабрике. В этом отношении с водкой дело обстоит, как с ромом, а хороший ром – редкость... Была бы под рукой настоящая ореховая настойка, – вздохнул он, – она бы мне наладила желудок. Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в Бруске.

Он принялся рыться в кошельке.

– У меня всего-навсего тридцать шесть крейцеров. Что, если продать диван... – рассуждал он. – Как вы думаете, Швейк? Купят его? Домохозяину я скажу, что я его одолжил или что его украли. Нет, диван я оставляю. Пошлю-ка я вас к капитану Шнабелю, пусть он мне одолжит сто крон. Он позавчера выиграл в карты. Если вам не повезет, ступайте в Вршовице в казармы к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь на Градчаны к капитану Фишеру. Скажите ему, что мне необходимо платить за фураж для лошади, так как те деньги я пропил. А если и там у вас не выгорит, заложим рояль. Будь что будет! Я вам напишу пару строк для каждого. Постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша. Вообще выдумывайте что хотите, но с пустыми руками не возвращайтесь, не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите две бутылки.

Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывали полное доверие ко всему, что бы он ни говорил. Швейк счел более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить свою просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты.

Деньги он получил всюду.

Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, уже умытому и одетому, триста крон, тот был поражен.

– Я взял все сразу, – сказал Швейк, – чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах. Все сошло довольно гладко, но капитана Шнабеля пришлось умолять на коленях. Такая каналья! Но когда я ему сказал, что нам необходимо платить алименты...

– Алименты?! – в ужасе переспросил фельдкурат.

– Ну да, алименты, господин фельдкурат, отступные девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне в голову не пришло. У нас один портной платил алименты пяти девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже часто одалживал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Они спрашивали, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая, ей нет еще пятнадцати. Хотели узнать адрес.

– Недурно вы провели это дело! – вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. – Какой позор! – сказал он, хватаясь за голову. – А тут еще голова трещит!

– Я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице, – разъярялся Швейк. – Я хотел провести дело основательно: приказ есть приказ. Не мог я уйти ни с чем, пришлось кое-что выдумать. Да, вот еще: там пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли его в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится – по крайней мере на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин станет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу... И на диван у меня уже покупатель есть. Это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене.

– А больше вы ничего не обстряпали, Швейк? – в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принес вместо двух бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, пять, чтобы у нас был кое-какой запас и всегда нашлось что выпить... За роялем могут зайти. А то еще ломбард закроют...

Фельдкурат махнул безнадежно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу. Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять навеселе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как употреблять алкоголь – низменный материализм, а жить следует жизнью духовной.

Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришел торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним. Он остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идет покупать ночной столик.

– Жаль, что у меня нет такого! – сокрушенно развел руками фельдкурат. – Трудно обо всем позаботиться заранее.

После ухода торговца старой мебелью фельдкурат завел приятельскую беседу со Швейком, с которым и распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и к картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом.

К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему:

– Только не уходите. Помните того рыжего юнкера из интендантства?

Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату:

– Хватит! Теперь в постель и дрыхни! Понял?

– Лезу, милый, лезу... Как не полезть? – бормотал фельдкурат. – Помнишь, как мы вместе учились в пятом классе и я за тебя писал работы по-греческому?.. У вас ведь вила в Збраславе. Туда можно проехать пароходом по Влтаве. Знаете, что такое Влтава?

Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям.

– Видите, господа, – жаловался он шкафу и фикусу, – как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! – вдруг решительно заявил он, укладываясь в постель. – Восстань против меня земля и небо, я и тогда отрекнусь от них!..

И в комнате раздался храп фельдкурата.

IV

К этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру к своей старой служанке пани Мюллеровой. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и ввиду того что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел:

«Милая Аннушка!

Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной ♦♦ есть и черная ♦♦♦. В остальном все в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную ♦♦♦♦. Слышала я, что пан Швейк, уже ♦♦ так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел, – с той поры как пришли меня ♦♦♦♦♦♦. Я думаю, что уже поздно и песик уже отдал ♦♦ душу».

Весь лист пересекал розовый штемпель:

Zensuriert K... u k. Konzentrationslager Steinhof³⁹.

– И в самом деле, песик был уже мертв! – всхлинула двоюродная сестра пани Мюллеровой. – А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды, и цветы на окнах.

Двоюродная сестра пани Мюллеровой никак не могла успокоиться. Всхлипывая и причитая, она наконец высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом.

– Забавно! – сказал Швейк. – Это мне ужасно нравится! Вот что, пани Кейржова, вы совершенно правы, я удрал. Но для этого мне пришлось убить пятнадцать вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите.

И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжения:

– Пани Кейржова, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль. А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться.

Заглянул Швейк и в трактир «У чаши». Увидав его, жена Паливца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир.

– Мой муж, – начала она мусолить старую историю, – был такой осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной

³⁹ Просмотрено цензурой. Императорский королевский концентрационный лагерь Штейнгоф (нем.).

службы. Вас на прошлой неделе опять искали... Мы поосторожнее вас, – закончила она свою речь, – а нажили-таки беду. Не всем такое счастье, как вам.

Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошел к Швейку и сказал:

– Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать.

На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки, в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверения Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку десять крон.

– Это вам пригодится на первое время, – сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу. – Я вам вполне сочувствую, меня вам нечего бояться.

Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал:

– Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом... Или нет, лучше сварите грог.

Глава XI

Швейк с фельдкуратором едут служить полевую обедню

I

Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем Бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией.

Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, также совершали торжественное богослужение, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника.

Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как то: миссионеров, путешественников, коммивояжеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но, поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады венками из ярких перьев лесных птиц.

Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями.

В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного.

В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник – к виселице, а во Франции – под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании – к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и т. д. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать: «Тебе всего-навсего отрубят голову, или только повесят, удавят, или пропустят через тебя пятнадцать тысяч вольт, – но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать Ему!»

Великая бойня – мировая война – также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого стояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат; священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров.

Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтех, прозванный «святым», истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом – в другой.

Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками – императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами – гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге: «На суше, в воздухе, на море...» и т. д.

Полевую обедню служили дважды: когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем как вели на смерть.

Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила прямехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкуратора остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем, как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников.

Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкуратора, на следующее утро появилась такая эпитафия:

Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось:
Судил ты небо нам, но было суждено,
Чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась,
Оставив от тебя лишь мокрое пятно.

II

Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты восемнадцатого столетия.

Фельдкурат Отто Кац был в восторге.

– Где это вы научились варить такую чудесную штуку? – спросил он.

– Еще в те годы, когда я бродил по свету, – ответил Швейк. – Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш. А после слабого грога утонет, как щенок.

– После такого грога, Швейк, хорошо служить полевую обедню, – рассуждал фельдкурат. – Я думаю перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня – это не шутка. Это вам не то, что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах! Складной, карманный так сказать, алтарь у нас есть... Иисус Мария! – схватился он за голову. – Ну и ослы же мы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали!

– Беда, господин фельдкурат! – сказал Швейк. – Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Вршовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грог и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя.

– В самом деле, только походного алтаря недостает, – озабоченно сказал фельдкурат. – Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили. Дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где она может быть?

Он задумался.

– Допустим, я ее потерял... В таком случае одолжим призовой кубок у поручика Семьдесят пятого полка Витингера. Несколько лет назад он участвовал от клуба «Спорт-Фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун! Расстояние в сорок километров Вена – Медлинг покрыл за один час сорок восемь минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним, на всякий случай, еще вчера об этом договорился... Вечно я откладываю все на последнюю минуту! Вот скотина! И как это я, балда, не посмотрел в диван!

И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат принялся ругать себя последними словами, в самых отборных выражениях давая понять, что, собственно, он собой представляет.

– Да идемте же искать этот походный алтарь! – зывал Швейк. – Уже утро. Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику.

Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в «божье благословение» много денег и если ему и дальше так повезет, то он выкупит рояль из ломбарда.

Это походило на обещание язычников принести жертву.

От заспанной жены торговца старой мебелью фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана – учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность: уцепил чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком.

До самых Вршовиц фельдкурат и Швейк шли пешком, так как фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться.

В Вршовицах в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это божье провидение, и подарил алтарь вршовицкому костелу в ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись:

«Даровано во хвалу и славу божью учителем в отставке Коларжином в лето от рождества Христова 1914».

Учитель, застигнутый в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана?» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался. И когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем вршовицкий костел.

– Это нас мало интересует, – заявил фельдкурат. – Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу!

– Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности, – добавил Швейк. – Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь – военное имущество. Этот перст божий может вам дорого обойтись! Нечего было обращать внимание на ангелов. Один человек из Згоржа тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст божий и, вместо того чтобы чашу переплавить, понес ее священнику, – хочу, дескать, пожертвовать ее в костел. А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызения совести, и послал за старостой, а староста – за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел божью мать, а в результате получил десять лет. Самое благоразумное для вас пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь – это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь.

Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал.

– Даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого! Я думал, что этим божьим даром помогу украшению нашего бедного храма господня во Вршовицах.

– Разумеется, за счет воинской казны? – оборвал его Швейк сурово и дерзко. – Покорно благодарю за такой божий дар! Некий Пивонька из Хотеборжи, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар божий.

От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом.

Вршовицкий фарар еще спал и, когда его разбудили, начал браниться, решив спросонок, что его зовут с требой.

– Покая не дадут с этим соборованием! – ворчал он, неохотно одеваясь. – И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался! А потом торгуйся с ними о плате.

Итак, они встретились в прихожей – представитель господа бога у вршовицких штатских мирян католиков, с одной стороны, и представитель бога на земле при военном ведомстве – с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходский священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем менее его следовало переносить из дивана в ризницу костела, который посещается исключительно штатскими.

Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках.

Наконец они прошли в ризницу, и фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания:

«Получил походный алтарь, который случайно попал в Вршовицкий храм. Фельдкурат Отто Кац».

Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Мориц Малер, изготавливавшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как-то: четки, образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалеванный кричащими красками, этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников.

Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом, словно огузок протухшего и разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а, наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, – на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей компании: дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем.

На противоположной створке алтаря намалевали образ, который должен был изображать Троицу. Голубя художнику в общем не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая так же походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот.

Зато Бог Отец был похож на разбойника с Дикого Запада, каких преподносят публике захватывающие кровавые американские фильмы.

Бог Сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде плавок. В общем, Бог Сын походил на спортсмена: крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся троица расплывалась, и создавалось впечатление, будто в крытый вокзал въезжает поезд.

Что представляла собой третья икона – совсем нельзя было разобрать.

Солдаты во время обедни всегда спорили, разгадывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазавского края. Тем не менее под этой иконой стояло: «Святая Мария, Матерь Божья, помилуй нас!» Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на пресвятую троицу.

Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарем – делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде: «Так в Сербии, значит, наложили вам по первое число?» – и так далее.

Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа, что везут, ответил:

– Пресвятую Троицу и Деву Марию с фельдкуратом.

Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом – в Бржегновский монастырь за дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина.

Понятное дело – не так-то просто служить полевую обедню.

– Шатаемся по всему городу! – сказал Швейк извозчику, и это была правда.

Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что фельдкурат забыл про министранта.

Во время обедни фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который теперь как раз предпочел сделаться телефонистом и уехал на фронт.

– Не беда, господин фельдкурат, – заявил Швейк. – Я могу его заменить.

– А вы умеете министровать?

– Никогда этим не занимался, – ответил Швейк, – но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились. Уж как-нибудь приклею это дурацкое «et cum spiritu tuo» к вашему «dominus vobiscum». В конце концов не так уж, я думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умыть вам руки и наливать из кувшинчика вина...

– Ладно! – сказал фельдкурат. – Только воды мне в чашу не наливайте. Вот что: вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина. А впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну один раз – значит, «направо», два – «налево». Требник особенно часто ко мне не таскайте. В общем это все пустяки. Не боитесь?

– Я ничего не боюсь, господин фельдкурат, даже не боюсь быть министрантом.

Фельдкурат был прав, что в общем все это – пустяки. Все шло как по маслу.

Речь фельдкурата была весьма лаконична:

– Солдаты! Мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к богу; да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего.

– Ruht!⁴⁰ – скомандовал старый полковник на левом фланге.

Полевая обедня зовется полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В Тридцатилетнюю войну при длительных маневрах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго.

При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро.

Сегодня обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает.

Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только «Et cum spiritu tuo». Это несколько напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но в общем богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоние ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты. Так что все сошло благополучно. То там, то здесь среди солдат слышалось: «Дай разок затянуться». И как фимиам, к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит.

Наконец раздалось: «Zum Gebet!»⁴¹, поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Витингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена – Медлинг.

Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат.

– Вот это глоток! – прокатывалось по рядам.

⁴⁰ Вольно! (нем.)

⁴¹ На молитву! (нем.)

Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда: «На молитву!», хор грянул «Храни нам, Боже, государя». Потом последовало «Стройся!» и «Шагом марш!».

– Собирайте манатки, – сказал Швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь. – Нам нужно все развезти владельцам.

Они поехали на том же извозчике и честно вернули все, кроме бутылки церковного вина.

Когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитывать в комендантское управление, Швейк обратился к фельдкурату:

– Осмелюсь спросить, господин фельдкурат, должен ли министрант быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?

– Конечно, – ответил фельдкурат. – Иначе обедня будет недействительна.

– Господин фельдкурат! Произошла крупная ошибка, – заявил Швейк. – Ведь я – вне вероисповедания. Не везет мне, да и только!

Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал:

– Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно церкви.

Глава XII

Религиозный диспут

Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности фельдкурат перемежал с кутежами и лишь изредка заходил домой, весь перемазанный и грязный, словно кот после прогулок по крышам.

Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был говорить, фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался декламировать Гейне.

Швейк отслужил с фельдкуратом еще одну полевую обедню, у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего коллегу Каца, когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковской фляжки – Швейк всегда носил ее с собой во время исполнения религиозных церемоний.

– Недурной коньяк, – сказал Отто Кац. – Выпейте и поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова болит.

Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он претворил в кровь господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного, причем каждое третье слово ее составляли «и так далее» и «несомненно».

– Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее. Обратите же сердца ваши к Богу и так далее. Несомненно. Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее.

«Так далее» и «несомненно» гремело у алтаря попеременно с богом и со всеми святыми.

В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов.

Тем не менее полевая обедня окончилась без всяких неприятностей – мило и весело. Саперы позабавились на славу.

На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарем в трамвай. Но Швейк пригрозил кондуктору:

– Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке!

Добравшись наконец домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дароносицу.

– Неважно, – махнул рукой Швейк. – Первые христиане служили обедни и без дароносицы. А если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли бы кто их вернул. Впрочем, встречаются и такие чудачки. У нас в полку в Будейовицах служил один солдат, хороший парень, но дурак. Нашел он как-то на улице шестьсот крон и сдал их в полицию. О нем даже в газетах писали: вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму! Никто с ним и разговаривать не хотел. Все как один повторяли: «Балда, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень высох весь, стал задумываться и, наконец, бросился под поезд... А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали – не отдавай в полицию, а он ладит свое. В полиции его приняли очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: «Послушайте, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько вам за тот бриллиант дали. Знаем мы таких честных заявителей!» В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом (какая-то там семейная реликвия). Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что в расстройстве он нанес оскорб-

ление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил, десять процентов, то есть одну крону двадцать геллеров, – цена-то этому хламу была двенадцать крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли десять крон штрафа. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя надо брать двадцать пять крон штрафа; таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях... По-моему, нашу дарохранительницу никто нам не вернет, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было канители... Вчера в трактире «У золотого венка» разговорился я с одним человеком из провинции, ему уже пятьдесят шесть лет. Он приехал в Новую Паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень – он вез консервы для армии – попросил его минутку постеречь лошадей, да больше и не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии, а в Венгрии он сам попросил одного постеречь воз и только этим и спасся, а то бы его и в Сербию затащили. Вернулся он сам не свой и теперь с военными делами не желает больше связываться.

Вечером их навел набожный фельдкурт, который утром тоже собирался служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к Богу. Еще будучи учителем Закона Божьего, он развивал в детях религиозные чувства с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по системе розог.

Набожный фельдкурт прихрамывал на одну ногу – результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников сыну за то, что тот усомнился в существовании Святой Троицы; мальчик получил три тумака: один за Бога Отца, другой за Бога Сына и третий за Святого Духа. Сегодня бывший законоучитель пришел наставить своего коллегу Каца на путь истинный и заронить в его душу искру божью. Он начал с того, что заметил ему:

– Удивляюсь, что это у вас не висит распятие. Где вы молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?

Кац улыбнулся.

– Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под ней – моя бывшая любовница. Направо – японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли, очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк! Принесите его сюда и откройте на третьей странице.

Швейк ушел на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.

Набожный фельдкурт был потрясен, когда на столе появились три бутылки.

– Это легкое церковное вино, коллега, – сказал Кац. – Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает мозельское.

– Я пить не буду, – упрямо заявил набожный фельдкурт. – Я пришел заронить в вашу душу искру божью.

– Но у вас, коллега, пересохнет в горле, – сказал Кац. – Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения.

Набожный фельдкурт немного отпил и вытаращил глаза:

– Чертовски доброе вино, коллега! Не правда ли? – спросил Кац.

Фанатик сурово заметил:

– Я замечаю, что вы сквернословите.

– Что поделаешь, привычка, – ответил Кац. – Иногда я даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Поверьте, я ругаюсь так же богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе с мое – и вы до этого дойдете. Это совсем нетрудно, а нам, духовным, все это очень близко: небо, бог, крест, причастие, и звучит красиво, и вполне профессионально. Не правда ли? Пейте, коллега!

Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хотел бы возразить, но не может. Он собирался с мыслями.

– Выше голову, уважаемый коллега, – продолжал Кац, – не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слыхал я, что однажды в пятницу, думая, что это четверг, вы по ошибке съели в одном ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь, что Бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост мясо, не боюсь никакого ада. Пардон! Выпейте! Вам уже лучше?.. А может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло, может быть, вы идете в ногу с духом времени и с реформистами? Иначе говоря, вы признаете, что в аду вместо простых котлов с серой для несчастных грешников используются папиновы котлы, то есть котлы высокого давления? Считаете ли вы, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей? Что в течение миллионов лет их, несчастных, мнут паровыми трамбовками для шоссежных дорог; скрежет зубовой дантисты вызывают при помощи особых машин, вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников? А в рай действуют распылители одеколона и симфонические оркестры играют Брамса так долго, что скорее предпочтешь ад и чистилище? У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте, коллега! Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку – ему, кажется, не по себе.

Придя в чувство, набожный фельдкурат произнес шепотом:

– Религия есть умственное воззрение... Кто не верит в существование Святой Троицы...

– Швейк, – перебил его Кац, – налейте господину фельдкурату еще рюмку коньяку, пусть он опомнится. Расскажите ему что-нибудь, Швейк.

– Во Влашине, осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – начал Швейк, – был один настоятель. Когда его прежняя экономка вместе с ребенком и деньгами от него сбежала, он нанял себе новую служанку. Настоятель этот на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов». – «Батюшка, – отвечает ему баба, – ведь сын-то мой посылает мне и письма и деньги». – «Это дьявольское наваждение, – говорит ей настоятель. – Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он всенародно проклял ее в костеле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костела его отвезли в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В монастыре урсулинок хранится бутылочка с молоком Девы Марии, которым-де она поила Христа, а в сиротский дом под Бенешозом привезли лурдскую воду, так этих сироток от нее прохватил такой понос, какого свет не видал.

У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошел только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову. Прищурился, он спросил Каца:

– Вы не верите в непорочное зачатие Девы Марии, не верите, что палец святого Иоанна Крестителя, хранящийся у пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в Бога? А если не верите, то почему вы фельдкурат?

– Дорогой коллега, – ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине, – пока государство признает, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении божьем, должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры. Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи – и не отпущу, хотя бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.

– А я люблю Господа Бога, – промолвил набожный фельдкурат, начиная икать, – очень люблю!.. Дайте мне немного вина. Я Господа Бога уважаю, – продолжал он. – Очень, очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его!

Он стукнул кулаком по столу, так что бутылки подскочили.

– Бог – возвышенное, неземное существо, совершенное во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех святых почитаю, и даже святого Серапиона... У него такое отвратительное имя!

– Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене имени, – заметил Швейк.

– Святую Людмилу люблю и святого Бернарда, – продолжал бывший законоучитель. – Он спас много путников на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он разыскивает занесенных снегом...

Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат понес околесицу.

– Младенцев я почитаю, их день двадцать восьмого декабря. Ирода ненавижу... Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц.

Он засмеялся и запел:

Святый Боже, святой крепкий...

Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, резко спросил:

– Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник Успения Богородицы?

Веселье было в полном разгаре. Появились новые бутылки, и время от времени слышался голос Каца:

– Скажи, что не веришь в Бога, а то не налью.

Казалось, что возвращаются времена преследований первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил:

– Верую в Господа Бога своего и не отрекись от него! Не надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!

Наконец его уложили в постель. Но, прежде чем заснуть, он провозгласил, подняв руку, как на присяге:

– Верую в Бога Отца, Сына и Святого Духа! Дайте мне молитвенник.

Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с ночного столика Отто Каца, и набожный фельдкурат заснул с «Декамероном» Боккаччо в руках.

Глава XIII

Швейк едет соборовать

Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства:

«Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все имевшие до сих пор силу предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила:

§ 1. Соборование на фронте отменяется.

§ 2. Тяжелобольным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания.

§ 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений.

§ 4. В исключительных случаях Управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование.

§ 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову Управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому Управление предлагает принять соборование».

Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых.

– Послушайте, Швейк, – позвал фельдкурат, – ну не свинство ли это? Как будто на всю Прагу только один фельдкурат – это я! Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается.

– Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть, – сказал Швейк. – Катехизис для духовных пастырей – все равно, что путеводитель для иностранцев... Вот, к примеру, в Эмаузском монастыре работал один помощником садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается осенять себя крестным знамением, кто единственный уберегся от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и прочие подобные мелочи. А потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал: «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса».

Когда Швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал:

– Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите-ка мне, как совершается соборование.

Швейк прочел:

– «...совершается так: священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву: “Через это святое помазание и по своему всеблаговому милосердию да простит тебе господь согрешения слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей”».

– Хотел бы я знать, – прервал его фельдкурат, – как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить?

– По-всякому, господин фельдкурат, – сказал Швейк. – Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках. Сами понимаете, какие там выкидывают номера.

– А ходьбой, Швейк?

– Если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели.

– А обонянием?

– Если кто нос от смрада воротит.

– Ну а вкусом?

– Когда на девочек облизывается.

– А речью?

– Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат: когда один болтает, а другой слушает...

После этих философских размышлений фельдкурат умолк. Потом опять обратился к Швейку:

– Значит, нам нужен освященный епископом елей. Вот вам десять крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверно, нет.

Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его труднее, чем живую воду в сказках Божены Немцовой. Швейк побывал в нескольких лавочках, но стоило ему произнести: «Будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом», – всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Но Швейк неизменно сохранял серьезный вид.

Он решил попытать счастья в аптеках. Из первой велели его вывести. В другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи, а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы Полак на Длоугой улице – торговля маслами и лаками – там на складе наверняка найдется нужный елей.

Фирма Полак на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным.

Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом.

Когда Швейк попросил елея, освященного епископом, на десять крон, хозяин сказал приказчику:

– Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три.

А пан Таухен, завертывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику:

– Товарец высшего качества-с. В случае, если потребуются кисти, лак, олифа – благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны. Фирма солидная.

Тем временем фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии.

Ему очень понравились некоторые чрезвычайно остроумные выражения, над которыми он от всей души хохотал.

«Соборование называется иначе последним помазанием. Наименование “последнее помазание” происходит оттого, что обыкновенно является последним из всех помазаний, совершаемых церковью над человеком».

«Соборование может принять каждый опасно заболевший христианин-католик, достигший сознательного возраста».

«Болящий принимает соборование, по возможности будучи еще в полном сознании и твердой памяти».

Пришел вестовой и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать «Союз дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов».

Этот союз состоял из истеричек, раздававших по госпиталям образки святых и «Сказание о католическом воине, умирающем за государя императора». На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валяются трупы людей, и лошади, опрокинутые повозки с амуницией, торчат орудия лафетами вверх. На горизонте горит деревня и рвется шрапнель. На переднем плане лежит умирающий солдат с оторванной ногой. Над ним склоня-

ется ангел, приносящий ему венок с надписью на ленте: «Ныне же будешь со мною в раю». При этом умирающий блаженно улыбается, словно ему поднесли мороженое.

Прочитав содержание пакета, Отто Кац плюнул и подумал: «Ну и денек будет завтра!»

Он знал этот «сброд», как он называл союз, еще по храму св. Игнатия, где несколько лет назад читал проповеди солдатам. В те времена он делал крупную ставку на проповедь, а этот союз обычно сидел позади полковника. Две длинные тощие женщины в черных платьях и с четками пристали к нему как-то раз после проповеди и битых два часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока наконец его не допекли и он сказал: «Извините, mesdames, меня ждет капитан на партию в “железку”».

– Ну, елей у нас есть, – торжественно объявил Швейк, возвратясь из магазина Полак, – конопляное масло номер три, первый сорт. Хватит на целый батальон. Фирма солидная. Продает также олифу, лаки и кисти. Еще нам нужен колокольчик.

– А колокольчик на что?

– Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с господом богом и с конопляным маслом номер три. Так полагается. Было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. Однажды в Жижкове фарар избил слепого, он тоже не снял шапки. Этого слепого еще посадили, потому как на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой и, значит, звон колокольчика слышал и других вводил в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник тела господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь начнут перед нами шапки ломать. Так если вы, господин фельдкурат, ничего против не имеете, я достану колокольчик. Я мигом.

Получив разрешение, Швейк уже через полчаса принес колокольчик.

– Это от ворот постоянного двора «У Кржижков», – сообщил он. – Обошелся в пять минут страху, но долго пришлось ждать, – все время народ мимо ходил.

– Я пойду в кафе, Швейк. Если кто придет, пусть подождет меня.

Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришел строгий пожилой человек, седой и прямой как палка.

Весь его вид выражал решимость и злобу. Смотрел он так, словно был послан судьбою уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во вселенной. Говорил он резко, сухо и строго:

– Дома? Пошел в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а платить долги – нету? А еще священник! Тьфу!

И он плюнул в кухне на пол.

– Сударь, не плюйте здесь, – попросил Швейк, с интересом разглядывая незнакомца.

– А я еще плюну, видите – вот! – вызываяще ответил строгий господин и снова плюнул на пол. – Как ему не стыдно! А еще военный священник! Срам!

– Если вы воспитанный человек, – заметил ему Швейк, – то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны себя вести деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган, вы, штатский оболтус.

Строгий господин вскочил с кресла и, трясаясь от злости, закричал:

– Да как вы смеете! Я невоспитанный человек?! Что же я, по-вашему? Ну?

– Нужник! Вот кто вы, – ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. – Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.

Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств по адресу Швейка и фельдкурата.

– Вы закончили? – спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение: «Оба вы негодяи, каков поп, таков и приход». – Или, может быть, хотите что-нибудь добавить, перед тем как полетите с лестницы?

Так как строгий господин настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла.

Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице и... такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта.

Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка:

– В следующий раз, когда придете с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично.

Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним.

Наконец гость дождался, фельдкурат провел его в комнату и посадил на стул против себя. Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем.

– Что вы делаете, Швейк?

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевков.

– Оставьте нас одних, Швейк. У нас есть кое-какие дела.

Швейк по-военному вытянулся.

– Так точно, господин фельдкурат, оставлю вас одних.

И ушел на кухню. В комнате между тем происходил очень интересный разговор.

– Вы пришли получить деньги по векселю, если не ошибаюсь? – спросил фельдкурат своего гостя.

– Да, и надеюсь...

Фельдкурат вздохнул.

– Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надеюсь» из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни: вера, надежда, любовь...

– Я надеюсь, господин фельдкурат, что сумма...

– Безусловно, многоуважаемый, – перебил его фельдкурат. – Могу еще раз повторить, что слово «надеюсь» придает человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который дает деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам тысячу двести крон, когда у меня в кармане нет даже сотни...

– В таком случае вы... – заикаясь, пролепетал гость.

– Да, в таком случае я, – ответил фельдкурат.

Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение.

– Сударь, это мошенничество, – сказал он, вставая.

– Успокойтесь, уважаемый!

– Это мошенничество! – закричал упрямый гость. – Вы злоупотребили моим доверием!

– Сударь, – сказал фальдкурат, – вам безусловно будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно... Швейк! – крикнул он. – Этому господину необходимо подышать свежим воздухом.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – донеслось из кухни, – один раз я его уже выставлял.

– Повторить! – скомандовал фельдкурат, и команда была исполнена быстро, стремительно и четко.

Вернувшись с лестницы, Швейк сказал:

– Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он начал буянить... В Малешницах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все случаи жизни были готовы изречения из Священного Писания. Когда ему приходилось стегать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, то вовремя наказует его. Я тебе покажу, как драться у меня в шинке!»

– Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника, – улыбнулся фельдкурат. – Святой Иоанн Златоуст сказал: «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает Господа, его же представителем пастырь есть...» К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш-бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, «милостью божьей предотвращены все козни врагов против дома сего».

На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры фельдкурата. Как только приготовили ужин, кто-то позвонил. Швейк пошел открыть, вскоре вернулся и доложил.

– Опять он тут, господин фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать.

– Нехорошо вы поступаете, Швейк, – сказал фельдкурат. – Гость в дом – бог в дом. В старые времена на пирах шутов-уродов заставляли увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит.

Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно.

– Присаживайтесь, – ласково предложил фельдкурат. – Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?

– Надеюсь, я здесь не для шуток, – сказал мрачный господин. – Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, – заметил Швейк, – вот ведь гидра! Совсем как Боушек из Либени. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной «Экснер», и каждый раз он возвращался – дескать, «забыл трубку». Он лез в окна, двери, через кухню, через забор в трактир, через погреб к стойке, где отпускают пиво, и, наверно, спустился бы по дымовой трубе, если б его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом! Вложили ему как следует!

Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил:

– Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать.

– Это вам разрешается, – сказал фельдкурат. – Говорите, уважаемый. Говорите, сколько вам угодно, а мы пока продолжим пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать? Швейк, подавайте на стол!

– Как вам известно, – начал настойчивый господин, – в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт.

Он вынул из кармана записную книжку и продолжал:

– У меня все записано. Поручик Яната был мне должен семьсот крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен две тысячи крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Поручик Махек попал в Сербии в плен, а он остался мне должен полторы тысячи крон. И таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий как назло тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете

мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите!

Он сунул Кацу под нос свою записную книжку.

– Видите: фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви! Не заплатил мне тысячу восемьсот крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела!

– Это его долг, милый человек, – сказал фельдкурат. – Я тоже завтра пойду соборовать.

– И тоже в холерный барак, – заметил Швейк. – Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой.

– Господин фельдкурат, – продолжал настойчивый господин, – поверьте, я в отчаянном положении! Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?

– Вот когда вас призовут на военную службу и вы попадете на фронт, – заметил Швейк, – мы с господином фельдкуратом отслужим мессу, чтобы, по божьему соизволению, вас разорвало первым же снарядом.

– Сударь, у меня к вам серьезное дело, – настаивала гидра, обращаясь к фельдкурату. – Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить.

– Простите, господин фельдкурат, – отозвался Швейк, – извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав – ему хочется уйти отсюда самому, без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов, я человек светский.

– Мне уже это начинает надоедать, Швейк, – сказал фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя. – Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то что вы два раза уже имели с ним дело. В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к Богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных тысяче двухстах кронах, отвлекает меня от испытания своей совести, от Бога и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего не дам ему. Я не хочу больше с ним разговаривать, чтобы не осквернять этот священный вечер! Скажите ему сами, Швейк: «Господин фельдкурат вам ничего не даст».

Швейк исполнил приказ, рывкнув в самое ухо гостю.

Однако настойчивый гость остался сидеть.

– Швейк, – сказал фельдкурат, – спросите его, долго ли он еще намерен здесь торчать?

– Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите, – упрямо заявила гидра.

Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал:

– В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите.

– Пойдемте, сударь, – пригласил Швейк, схватив незваного гостя за плечо. – Бог троицу любит.

И проделал свое упражнение быстро и изящно под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле.

Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к Богу, что еще в двенадцать часов ночи из его квартиры доносилось пение:

Когда в поход мы собирались,
Слезам девки заливались.

С ним вместе пел и бравый солдат Швейк.

* * *

В военном госпитале жаждали соборования двое: старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба получили в Карпатах по пуле в живот и теперь лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать.

Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли, и когда утром в госпиталь явился фельдкурат со Швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья.

– Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а нам все дело испортили! – досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются.

И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках, Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного, хотя Швейк и старался надевать как можно больше шуму своим колокольчиком. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали хором:

– Сзади-то, сзади!

Швейк звонил, извозчик стегал кнутом сидевшего сзади мальчишку. На Водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации Святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, потом плюнула:

– Скачут с этим Господом Богом, словно черти! Так и чахотку недолго получить! – и, запыхавшись, вернулась на свое старое место.

Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчицью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой.

В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк.

Фельдкурат прошел в канцелярию, уладил финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около ста пятидесяти крон за освященный елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом завязался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил:

– Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования, это обошлось бы вам еще на пятьдесят крон дороже.

Швейк ждал фельдкурата внизу в караульном помещении с бутылочкой освященного елея, возбуждавшей в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с Чехо-Моравской возвышенности, который еще верил в Бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах: дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды.

Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал:

– Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову! Дурачили нас только! До войны приезжал к нам депутат клерикал и говорил о царстве божьем на земле. Мол, Господь Бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о Боге начали говорить будто о начальнике

Генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале! Отрезанные руки и ноги прямо возами вывозят!

– Солдат хоронят нагишом, – сказал другой, – а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди.

– Пока не выиграем войну, – заметил Швейк.

– Такой денщик-холуй выиграет! – отозвался из угла отделенный. – На фронт бы таких, в окопы погнать вас на штыки, к чертовой матери, на проволочные заграждения, в волчьи ямы, против минометов. Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому неохота.

– А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком! – сказал Швейк. – Неплохо еще получить пулю в брюхо, а еще лучше, когда человека разрывает снаряд и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить.

Молоденький солдат сочувственно вздохнул. Ему стало жалко своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему все это?

Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил:

– Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится такое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена...

– Оставьте свою ученость при себе, – перебил его отделенный командир. – Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце! Хоть бы их там двадцать было, из них себе шубы не сошьешь!

– Пятна на солнце действительно имеют большое значение, – вмешался Швейк. – Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире «У Банзетов», в Пуслях. С той поры, перед тем как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну – «прощаюсь, ангел мой, с тобою», я никуда не хожу и пережидаю. Когда вулкан Монпеле уничтожил целый остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели!

Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из «Союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов», старую, противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и направо и налево раздавала образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы.

Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно-де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратом:

– Эта война, вместо того чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей.

Внизу больные показали ей язык и сказали, что она «харя» и «валаамова ослица».

– Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben⁴².

И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя императора, когда верит в Бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай.

Болтуня наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать фельдкурата. Однако фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней.

– Мы едем домой, Швейк! – крикнул он в караульное помещение.

⁴² В самом деле это ужасно, господин фельдкурат. Народ так испорчен (нем.).

Обратно они ехали без всякой торжественности.

– В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет, – сказал фельдкурат. – Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. Только и занимаются бухгалтерией! Сволочи!

Увидев в руках Швейка бутылочку с «освященным елеем», он нахмурился:

– Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги.

– Я еще попробую смазать этим дверной замок, – прибавил Швейк, – а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой.

Так, не начавшись, закончилось соборование.

Глава XIV

Швейк в денщиках у поручика Лукаша

I

Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с фельдкуратором. Если до сих пор фельдкуратор был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску.

Фельдкуратор продал Швейка поручику Лукашу, или, точнее говоря, проиграл его в карты: так некогда продавали в России крепостных.

Произошло все это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды теплая компания. Играли в «двадцать одно». Фельдкуратор все проиграл и заявил:

– Сколько дадите мне в долг под моего денщика? Страшный болван, но фигура презанятная, нечто *поп plus ultra*⁴³. Ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас еще не было.

– Даю сто крон, – предложил поручик Лукаш. – Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный тип – вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все, что попало. Бил я его – не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему два передних зуба – и это его не исправило.

– Идет, – легкомысленно согласился фельдкуратор. – Послезавтра получишь или сто крон, или Швейка.

Он проиграл и эти сто крон и, опечаленный, побрел домой. Отто Кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра ему нигде денег не раздобыть и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал Швейка.

«Нужно было взять двести крон», – упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довести его до дому, он ощутил угрызения совести и почувствовал приступ сентиментальности.

«Это некрасиво с моей стороны, – думал он, звоня к себе в квартиру. – Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза...»

– Милый Швейк, – сказал он, входя в комнату, – со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошел ва-банк, на руках у меня туз, прикупаю десятку. У банкомета на руках был всего валет, и все-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз ставил на туза или на десятку, и каждый раз у банкомета было столько же. Просадил все деньги... – он замялся, – и наконец проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль...

– Сто крон у меня найдется, – сказал Швейк. – Могу вам одолжить.

– Давайте их сюда, – оживился фельдкуратор. – Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться.

Лукаш был немало удивлен, снова увидев фельдкуратора у себя.

– Пришел заплатить тебе долг, – заявил фельдкуратор с победоносным видом. – Дайте-ка и мне карту.

– А ну-ка... – сказал он, когда пришла его очередь. – Всего очко перебрал, – добавил он. – Ну, значит, играю, – сказал он, когда подошел следующий круг. – Покупаю! Стоп!

⁴³ Неповторимое (*лат.*).

– Двадцать, – объявил банкомет.

– А у меня девятнадцать, – произнес фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства.

Возвращаясь домой, фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша.

И когда Швейк отворил ему дверь, фельдкурат сказал:

– Все напрасно, Швейк. От судьбы не уйдешь! Я проиграл и вас и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша... Пришла пора нам расстаться.

– А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? – спокойно спросил Швейк. – Плохо дело, когда карта не идет, но еще хуже, когда везет чересчур... Жил в Здеразе жестяник, по фамилии Вейвода, частенько игрывал в «марьяж» в трактире позади «Столетнего кафе». Однажды черт его дернул предложить: «Не перекинуться ли нам в “двадцать одно” по пяти крейцеров?» Ну, сели играть. Метал банк он. Все проиграли, банк вырос до десятки. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть и все время приговаривал: «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда». Вы не можете себе представить, как ему не везло: маленькая, плохонькая не шла, да и только. Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышна: «Маленькая, плохонькая, сюда». Игроки ставили по пятерке и все время проигрывали. Один трубочист так разошелся, что сбегал домой за деньгами, и, когда в банке было больше чем полторы сотни, пошел ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и, как позже рассказывал, решил прикупить хоть до тридцати, чтобы только не выиграть, а вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит: «Шестнадцать». А у трубочиста всего-навсего оказалось пятнадцать. Ну разве это не невезение! Несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться, что, дескать, передергивает и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной. Там уже скопилось пятьсот крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза по сто крон, а потоп зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. «Играем в открытую!» – сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду – у него было двадцать одно. Старику Вейводе пришла вторая семерка, и опять он ее себе оставил «Теперь придет туз или десятка, – заметил со злорадством трактирщик. – Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут». Все затаили дыхание. Вейвода тянет, и появляется... третья семерка. Трактирщик побледнел как полотно (это были его последние деньги) и ушел на кухню. Через минуту прибегают мальчонка, – он был у него в ученье, – кричит, чтобы мы скорей сняли трактирщика: хозяин-де весит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было – все деньги лежали в банке у Вейводы. А Вейвода знай свое «маленькая, плохонькая, сюда», и счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол, не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились: если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Здераза – около миллиона, швейцар из «Столетнего кафе» – восемьсот тысяч крон, а фельдшер – больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трехсот тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки: то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришлось два-

дцать одно. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнера было четырнадцать. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостовщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете и что такому нужно наподдать коленкой, выкинуть и утопить, как щепка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место, – сказал он трубочисту. – Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мыслиховую улицу за полицией, нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар – свыше трех. А в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостовщик крикнул: «Спасайся, кто может!» Но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Здразский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в «корзинке». В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал, – сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. – Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка, свыше ста шестидесяти миллионов крон. Старик от всего этого рехнулся и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе несгораемые шкафы... Вот это называется – повезло в карты!

Тут Швейк пошел варить грог. К ночи фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил.

– Продал я тебя, дружище, – всхлипывал он, – позорно продал. Прокляни меня, ударь – стою того! Отдал я тебя на растерзание. В глаза тебе не смею взглянуть. Бей меня, кусай, уничтожь! Лучшего я не заслужил. Знаешь, кто я?

И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул:

– Я последний подлец... – и уснул, словно ко дну пошел.

На другой день фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем.

– Швейк, – сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка, – покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу.

Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен: «Около Ходова течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво. Гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на Белой горе мужичок пашет...»

– За тебя я не боюсь, – сказал Швейк. – С такими способностями ты у фельдкурата удержишься.

Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал:

– Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я – тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты.

II

Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, еще у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы рыцарей. Кем, скажем, был Санчо Панса у Дон Кихота? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. А то мы прочли бы там, как

альмавирский герцог во время осады Толедо с голода съел без соли своего денщика; об этом герцог сам пишет в своих воспоминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослатиной.

В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между прочим, наставление денщикам. В старину денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым, – словом, идеалом человека. Наша эпоха многое изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врет, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это – лстивый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину. Среди нового поколения денщиков уже не найдется самоотверженных существ вроде благородного Фернандо, денщика альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что в борьбе за свой авторитет – в борьбе не на жизнь, а на смерть со своими денщиками – начальники прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходит до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Тогда капитан был оправдан, потому что проделал этот эксперимент всего лишь во второй раз. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик – вещь, часто только чучело для оплеух, раб, прислуга с неограниченным числом обязанностей. Неудивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и лстивым. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг – мальчишек в ресторанах в старое время; у них чувство порядочности развивали подзатыльниками и колотушками.

Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить. От него зависит отпуск. Он может походить, чтобы при рапорте все сошло хорошо.

Во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу.

В Девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награжден малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки и его начальник во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить.

Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, этот начальник выразился так:

«В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнем наступающего противника».

А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад, жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами и носила гимнастерку, сшитую лично ей по мерке.

Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумvirату присоединялся обыкновенно и старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах.

Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всем. Если денщик говорил: «В два часа тридцать пять минут улепет-

нем», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля.

Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню.

– Я люблю грудинку, – говорил он повару, – а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки, знаешь ведь, что я селезенку не жру.

Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного: чтобы его командир был ранен и он вместе с ним попал бы в тыл, как можно подальше.

Своими «секретами» он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон», – сообщал он конфиденциально по отделениям и был счастлив, если мог потом сказать: «Уже собрали».

Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель; не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека, совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество.

Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег как зеницу ока.

Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубно до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил еще пять различных ручных чемоданов, да два одеяла и подушку, не считая узла, который он тащил на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки.

Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он все это унести, тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента, зорко охранять каждую вещь... и умереть на своих чемоданах от сыпного тифа в лагере для военнопленных.

В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они-де штурмовали Сокаль, Дубно, Ниш, Пиаву. Каждый из них – Наполеон. «Вот я и говорю нашему полковнику: пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать».

В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата вязали.

Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ.

III

Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я – тоже чех...»

Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше.

Но в остальном он был человек славный: не боялся начальства и на маневрах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывая ее по сараям, и, часто платя из своего скромного жалованья, выставял солдатам бочку пива.

Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал:

А как ноченька пришла,
Овес вылез из мешка,
Тумтария бум!

Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения придирааться.

Унтеры дрожали перед ним. Из самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца.

Накричать он мог, но никогда не ругался. Выбирал слова и выражения.

– Видите ли, голубчик, право же мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины – «трость, ветром колеблемая». Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сажают за то, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на гимнастерке, за такую мелочь, за такой пустяк, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил? Но на военной службе подобная небрежность по отношению к своей внешности влечет за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьете пуговицу и, значит, начнете лодырничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку, послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык и, наконец, заснете на посту – и все из-за того, что с той несчастной пуговицы вы начали вести жизнь лодыря. Так-то, голубчик! Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжелого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определенную цель – исправление наказуемого солдата.

Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямоотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался.

Он родился в деревне среди темных лесов и озер южной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности.

Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным: он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда самые негодные и подлые.

Он не считал их за солдат, бил их по морде, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, то и дело менял и всегда приходил к заключению: «Опять попалась подлая скотина!» Своих денщиков он считал существами низшего порядка.

Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гарцкая канарейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость.

Они морили голодом канарейку, один из денщиков выбил ангорской кошке глаз, пинчера стегали, как только он попадался под руку, и, наконец, один из предшественников Швейка отвел бедного пса к живодеру на Панкрац, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело из своего кармана десять крон. А поручику он доложил, что пес сбежал на прогулке. На следующий день этот денщик уже маршировал с ротой на плацу.

Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что приступает к своим обязанностям, поручик провел его к себе в комнату и сказал:

– Вас рекомендовал мне господин фельдкурат Кац. Надеюсь, вы не осрамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них не удержался. Предупреждаю, я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу: «Прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого не хотелось. Куда вы смотрите?

Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил на него свои добрые глаза и ответил милым, добродушным тоном:

– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, – это гарцкая канарейка.

Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и не моргнув глазом уставился на поручика.

Поручик хотел было сказать резкость, но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только:

– Господин фельдкурат аттестовал вас как редкого болвана. Думаю, он не ошибся.

– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат взаправду не ошибся. Когда я был на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих: меня и еще одного, капитана фон Кауница. Тот, господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой руки – в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил: «Солдаты... э-э... имейте в виду... э-э... что сегодня... среда, потому что... завтра будет четверг... э-э...»

Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал «равнение направо» и «равнение налево», – смотря по тому, где находился поручик, – с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане:

– Да-с! Чтобы всегда у меня был порядок и чистота и не смей лгать. Я люблю честность. Ненавижу ложь и наказываю за нее немилосердно. Вы меня поняли?

– Так точно, господин обер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться – знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться с его дочкой, то он, лесник, как, значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что все это враки. Но однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую операцию, да учитель отговорился: он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он и врал – чем дальше, тем больше. Наконец со страху он присягнул, что хотел только силки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жандармам, а оттуда дело перешло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду, получил бы порцию щетины с солью всего-навсего; я держусь того мнения, что лучше признаться, а если уж что натворил, – прийти и сказать: дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная, с нею человек далеко пойдет.

Ну, все равно как при состязании в ходьбе: как только начнешь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанции. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек, всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать: «Сегодня я опять был честным».

В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу».

Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк закончил:

– Вы должны ходить в чищенных сапогах, держать мундир в порядке и чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босняка. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид, да и тот в конце концов украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале.

Поручик умолк, но вскоре заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, особенно напоминая на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома.

– У меня бывают дамы, – подчеркнул он. – Иногда дама останется ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню, поняли?

– Так точно, понял, господин обер-лейтенант. Если я неожиданно влезу в комнату, то, возможно, иной даме это покажется неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, и мы с ней очень мило развлекались, когда моя служанка принесла нам кофе в постель. Служанка с перепугу обварила мне кофеем всю спину, да еще сказала: «С добрым утром!» Нет, я прекрасно знаю, как вести себя, когда ночует дама.

– Отлично, Швейк! С дамами мы должны вести себя исключительно тактично, – сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время.

Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг. Их было несколько дюжин, и многие за время своего пребывания старались приукрасить квартиру всевозможными безделушками.

Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышла поручику премиленькую дорожку на стол, на всем его белье монограммы и, наверное, докончила бы коврик на стене, если бы ее муж не прекратил эту идиллию.

Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела превратить спальню поручика в дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила ангела хранителя.

Заботливая женская рука ощущалась во всех уголках спальни и столовой, она проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности – великолепный подарок одной влюбленной фабрикантши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, терку для печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и бог весть что еще.

Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что, кроме нее, у Лукаша есть еще около двадцати других любовниц: последнее обстоятельство отразилось на исполнительности этого породистого самца в мундире.

Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять склонность к фетишизму. У него сохранилось несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные, тончайшие дамские рубашечки, батистовые платья и, наконец, один корсет и несколько чулок.

– Сегодня у меня дежурство, – сказал поручик Швейку, – я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт.

Отдав приказания, касающиеся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не преминув еще раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке.

После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать:

– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала: сожрала вашу канарейку.

– Как?! – загремел поручик.

– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных! Наш шляпный мастер выучил-таки свою кошку. Сначала она сожрала у него трех канареек, а теперь уже ни одной больше не жрет, и канарейка может на нее хоть садиться. Я тоже хотел попробовать, вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать, а эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от нее такого хамства! Если бы это был, скажем, воробей, так я бы ничего не сказал, а то ведь замечательная канареечка, гарцкая! Да с какой еще жадностью жрала, вместе с перьями, и ворчала при этом от удовольствия. У них, у кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования, они, бестии, не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом ничего не смыслят... Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать.

Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил:

– Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?

– Так точно, господин обер-лейтенант, – торжественно ответил Швейк. – Мне с малых лет не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Разве я виноват, что она сожрала канарейку и все знакомство на этом оборвалось! Несколько лет назад в гостинице «У Штупартов» кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи... И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится.

И Швейк с самым невинным видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы до сумасшедшего дома все общество покровительства животных.

Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его:

– Вы умеете обращаться с животными? Любите их?

– Больше всего я люблю собак, – сказал Швейк, – потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми! Так нет же, каждому подавай родословную, вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь коширжской дворяжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить вршовицкого шпица вместо таксы, а они только удивлялись, почему у такого редкого пса,

из самой Германии, шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там продельваются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать: «Я, дескать, чистокровная тварь», – говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш у него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал: от одного – уши, от другого – хвост, еще от одного – шерсть на морде, от третьего – морду, от четвертого – кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит. Вот купил я однажды этакое кобеля, звали его Балабан, так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости; был он такой покинутый и все время сидел у меня дома в углу, все грустил, так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел.

Поручика начал занимать этот доклад по собаководению. И Швейк мог без помехи продолжать.

– Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или выдаете такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрасьте пса в черный цвет – будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что: с людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить, и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить болонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо болонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет и вместо того, чтобы увести дога, унесет в кармане вашего карликового фокстерьера... Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчишки играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался бесхвостый, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного. А был у меня только злоющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с четырех часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей: «Пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост», – и больше мне с этой дамой не довелось разговаривать: из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом... Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно...

– Я сам люблю собак, – сказал поручик. – Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если б у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех; то есть я имею в виду собаку-друга? Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю...

– По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер – очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что щетинист, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть, а умные. Куда до них болванам сенбернарам! Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного...

Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка:

– Уже поздно, мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера.

Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм.

– Скажите пожалуйста, – заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня. – Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет.

Швейк задумался и вдруг вскочил:

– Чуть было не забыл! – И пошел в комнату к поручику.

Поручик крепко спал. Швейк разбудил его:

– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказа на счет кошки.

Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: «Три дня ареста!» – и заснул опять.

Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей:

– Три дня ареста!

И ангорская кошка полезла обратно под диван.

IV

Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашом. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного.

– Нету дома, – твердо сказал Швейк, но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку:

– Отнесите чемоданы в комнату.

– Без разрешения господина поручика нельзя, – сказал Швейк. – Господин поручик приказал мне без него ничего не делать.

– Вы с ума сошли! – вскричала молодая дама.

– Я приехала к господину поручику в гости.

– Об этом мне ничего не известно, – ответил Швейк. – Господин поручик на службе и вернется только ночью, а я получил приказание найти пинчера. Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запираю квартиру и покорнейше прошу вас уйти. Мне не давали никаких распоряжений на этот счет, и я не могу чужую, неизвестную мне особу оставлять одну в квартире. У нас на улице, у кондитера Бильчицкого, оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал... Конечно, я этим не хочу о вас сказать ничего дурного, – продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет, – но оставаться вам здесь решительно нельзя. Согласитесь сами: раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому еще раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять. Пока я не получил приказа от господина поручика, для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной службе прежде всего должен быть порядок.

Молодая дама между тем несколько пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удрученно сказала:

– Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. Вот вам пять крон на дорогу.

– Ничего не выйдет, – ответил Швейк, задетый навязчивостью неожиданной гостьи. – Оставьте себе эти пять крон, вот они здесь, на стуле, а если хотите, пойдемте вместе к казармам, подождите меня там, я передам ваше письмо и принесу ответ. Но ждать здесь вам ни в коем случае нельзя! – После этого он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами как дворцовый ключник, стоя в дверях, многозначительно сказал:

– Запираем...

Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошел вперед. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его только когда он зашел в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор.

– А вы передадите наверное?

– Передам, раз обещал.

– А вы найдете господина поручика?

– Не знаю.

Они молча шагали рядом, пока наконец спутница Швейка не заговорила опять:

– Так вы думаете, что господина поручика не найти?

– Нет, не думаю.

– А где он может быть, как вы думаете?

– Не знаю.

На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом:

– Вы не потеряли письмо?

– Пока что нет.

– Так вы наверное передадите его господину поручику?

– Да.

– А найдете вы поручика?

– Я уже сказал, что не знаю, – ответил Швейк. – Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и все время спрашивать об одном и том же! Это все равно как если бы я оставливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число.

Так были закончены всякие попытки договориться, и дальнейший путь к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить, что это доставило даме чрезвычайное удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно было увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в «Хронике мировой войны». Под фотографией стояла надпись: «Наследник австрийского престола беседует с двумя летчиками, сбившими русский аэроплан».

Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманек, прибыл в Киев, а также, что у нас осталось в Сербии одиннадцать опорных пунктов и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами.

Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженное со всех сторон, непременно должно сдаться.

Наговорившись вдоволь, он счел нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернется – пусть она никуда не уходит, а сам пошел наверх в канцелярию, где

отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить, и не имеет ни малейшего понятия о геометрии.

– Видите, вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, то мы должны начертить такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно, не заедете с ними к противнику, а останетесь на расстоянии шестисот метров от него. Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярно к неприятелю. А вам ведь нужен тупой угол. Это же очень просто, не правда ли?

Подпоручик запаса, который в мирное время служил кассиром в банке, стоял над чертежами в полном отчаянии и ничего не понимал. Он облегченно вздохнул, когда Швейк подошел к поручику и отпрапортовал:

– Осмелюсь доложить, господин поручик, какая-то дама просит передать вам это письмо и ждет ответа. – При этом он многозначительно и фамильярно подмигнул.

То, что прочел поручик, не произвело на него благоприятного впечатления.

«Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muß unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Mistvieh. Ich bin unglücklich.
Deine Katy»⁴⁴

Поручик Лукаш вздохнул, повел Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком.

– Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?

– Осмелюсь доложить, я ничего ей не сделал, господин обер-лейтенант. Я вел себя как полагается, но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. А раз я не получил от вас никаких указаний, то я ее там не оставил. Ко всему прочему, она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой.

Поручик еще раз громко вздохнул, Швейк тоже вздохнул.

– Что?! – угрожающе крикнул поручик.

– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, – это тяжелый случай. Года два тому назад на Войтешской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак ее не мог выжить из квартиры. В конце концов ему пришлось отравить и себя и ее светильным газом, и шутке был конец. Беда с бабьем! Я их насквозь вижу!

– Тяжелый случай! – повторил поручик за Швейком; и никогда еще он не изрекал такой истины.

«Дорогой Генрих» был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз когда должна приехать из Тршебони пани Мицкова, чтобы в течение трех дней повторить то, что она регулярно делает раз в три месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера.

Поручик сидел на столе повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке нижеследующее:

«Дорогая Кати!

⁴⁴ Дорогой Генрих! Муж гонится за мною по пятам. Мне необходимо погостить у тебя пару дней. Твой денщик – скотина. Я несчастна. Твоя Кати (нем.).

До 9 часов вечера я буду на службе. Приду в 10. Прошу, чувствуй себя как дома. Что касается Швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены.

Твой Индржих».

– Отдайте письмо даме, – сказал поручик. – Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам сто крон, потом дадите мне отчет. Наверно, она пошлет вас за чем-нибудь; закажите для нее обед, ужин и так далее. Кроме того, купите три бутылки вина и коробочку «Мемфис». Так. Больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, которое только прочтете в ее глазах.

Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть Швейка и была очень удивлена, когда он вышел из казарм и направился к ней с письмом в руке.

Швейк взял под козырек, подал ей письмо и доложил:

– Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично, служить не за страх, а за совесть и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас все, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта сто крон, но из этих денег я должен еще купить три бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис».

Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела Швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала Швейку сесть к кучеру на козлы.

Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшее негодование.

Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго занять свои боевые позиции.

Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришлось в голову снять и вытрясти занавески. Затем Швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью, и когда Швейк перетаскивал все из угла в угол, ей опять не понравилось, и она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки.

Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился.

Дама вынула из комода чистое постельное белье и сама переменила наволочки на подушках и перинах.

Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет заставлял чувственно трепетать ее ноздри.

Затем она послала Швейка за обедом и вином, а сама между тем переоделась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительно.

За обедом она выпила бутылку вина, выкурила массу «мемфисок» и легла в постель. А Швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки.

– Швейк! – раздалось вдруг из спальни. – Швейк!

Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках.

– Войдите.

Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем, приподнимая нежную материю, которая покрывала и скрывала все, приказала строго:

– Снимите башмаки и брюки. Покажите...

Когда поручик вернулся из казарм, brave солдат Швейк мог с чистой совестью отпартовать:

– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.